

ФРАНЧЕСКО ДОМЕНИКО ГВЕРРАЦЦИ

БЕАТРИЧЕ ЧЕНЧИ

Франческо Гверрацци
Беатриче Ченчи

«Public Domain»

1854

Гверрацци Ф. Д.

Беатриче Ченчи / Ф. Д. Гверрацци — «Public Domain», 1854

«Тот, кто сумел бы передать красками группу, ожидавшую Франческо Ченчи в зале его дворца, создал бы что-то, если и не столь прекрасное, как Мадона дела Седжиола Рафаэля, то во всяком случае нечто к ней близкое. Молодая женщина лет двадцати сидела на ступенчатом подоконнике высокого окна, держа на груди ребенка; сзади стоял красивый молодой человек и любовался этою нежною картиной. Его руки, сложенные как для молитвы, точно благодарили Бога за счастье, которое он послал ему. Выражение лица и глаз показывали, что его волновали разом три чувства, делающие из человека что-то почти божественное: сложенные руки возносились к Богу, взгляд, исполненный нежности, обращался к сыну, улыбка – к жене. Молодая женщина, вся поглощенная материнскою заботливостью, не видела этой улыбки. Ребенок казался ангелом с неба, заблудившимся на земле...»

Содержание

Глава I	5
Глава II	10
Глава III	14
Глава IV	21
Глава V	24
Глава VI	26
Глава VII	31
Глава VIII	38
Глава IX	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Франческо Доменико Гверраци

Беатриче Ченчи

Быль XVI века

Глава I

Франческо Ченчи

Тот, кто сумел бы передать красками группу, ожидавшую Франческо Ченчи в зале его дворца, создал бы что-то, если и не столь прекрасное, как *Мадона дела Седжиола* Рафаэля, то во всяком случае нечто к ней близкое. Молодая женщина лет двадцати сидела на ступенчатом подоконнике высокого окна, держа на груди ребенка; сзади стоял красивый молодой человек и любовался этою нежною картиной. Его руки, сложенные как для молитвы, точно благодарили Бога за счастье, которое он послал ему. Выражение лица и глаз показывали, что его волновали разом три чувства, делающие из человека что-то почти божественное: сложенные руки возносились к Богу, взгляд, исполненный нежности, обращался к сыну, улыбка – к жене. Молодая женщина, вся поглощенная материнскою заботливостью, не видела этой улыбки. Ребенок казался ангелом с неба, заблудившимся на земле.

В другом конце залы, развалиясь на скамье, сидел человек, который как нельзя лучше мог бы служить натурщиком Михель-Анджело. Лицо его едва виднелось из под широких полей остроконечной шляпы. Длинная, седая борода была всклокочена; кожа на лице, подобная той, которую Иеремия оплакивает у детей Сиона, была темна и суха, как внутренность очага. Он был завернут в широкий плащ; ноги, сложенные одна на другую, обуты в сандалии, какие обыкновенно носили крестьяне из римских деревень. По всем вероятностям он был вооружен, но скрывал оружие, потому что римский двор, после папы Сикста V, был очень строг с теми, кто поступал вопреки запрещению.

Двое молодых людей ходили по зале то скорыми, то медленными шагами, меняясь словами иногда вслух, а иногда вполголоса. Лицо одного из них было покрыто красными золотушными пятнами; из-за воспаленных век блестели черные зрачки, в которых просвечивалась жестокость, смешанная с чем-то, похожим на безумие. Волосы редкие и торчащие, испорченные зубы, приплюснутый нос и отвисшие щеки придавали ему сходство с легавою собакою. Богатая одежда его была в беспорядке, засохшие губы произносили хриплым голосом гнусные и буйные слова. Так и видно было, что в нем таилось преступление, как вулкан, готовый извергнуться. Другой был бледен и приятной наружности: с густыми, русыми кудрями, с грустным взглядом и медленной речью. Рассеянный, часто вздыхая, он останавливался, вздрагивал, и внутреннее волнение обнаруживалось трепетом верхней губы и дерганьем бакенбардов. В одежде его было изыскано. Увидевший его сразу сказал бы: он вздыхает от любви.

Тут был еще старый священник, который первый нарушил молчание, обратясь с каким-то вопросом к гайдуку, который стоял в зале, и казалось уже готов был дать ему ответ, как вдруг господин с злодейским лицом надменно позвал его:

– Камило!

Натура слуг такова, что если у них нет других причин гнуть спину, то они слушаются тех, кто ими надменнее повелевает; и гайдук Камило, хотя он и далеко не был из самых дурных среди многочисленной, домашней прислуги, все-таки повернулся, точно на пружине, спиною к курату, и согнувшись в три погибели, смиренным голосом ответил:

– Эчеленца!

– Может быть, благородный граф дурно спал эту ночь?

– Не знаю, впрочем, не думаю. На заре пришли письма, большею частью из Испании и королевства; – может быть, впрочем, я этого не знаю, может быть он их читает теперь.

В эту минуту неистовый лай собаки оглушил присутствующих: не много погодя, двери из комнаты графа распахнулись от сильного толчка, и из них выбежала огромная собака, разъяренная и вместе перепуганная.

Мужик, лежавший у двери, вскочил на ноги, и высвободив руку из под плаща и выхватив широкий кинжал, длиною в добрых две пальмы¹, приготовился к защите. Молодая мать прижала ребенка к груди и закрывала его обеими руками. Отец стоял перед женою и сыном, чтоб заслонять их собою. Двое прогуливавшихся господ посторонились с приличною быстротой, в которой виднелось и нежелание наткнуться на опасность, и в тоже время нежелание показать страх перед этой опасностью.

Разъяренное животное лаяло неистово.

В это время на пороге показался старик. Это был Франческо Ченчи.

Франческо Ченчи, латинская кровь которого происходила от древнейшей Фамилии Чинчиа, считал между своими предками папу Иоанна X. Фамилия эта отличалась как древностью происхождения, так и древностью злодеяний.

Франческо Ченчи обладал большим богатством, ежегодный доход его превышал сто тысяч скуд; в те времена это казалось несметным богатством, да и в наше время это считалось бы не малым. Наследство это оставил ему отец, который заведовал церковной казною при Пие V; и в то время, как последний заботился об очищении света от ереси, старый Ченчи старался очистить казну от денег: оба были достойны друг друга, каждый в своем роде. О Франческо Ченчи трудно было и знать, что думать; может быть ни об одном другом человеке молва не была так разноречива, как о нем. Одни прославляли его за благочестие, щедрость, доброту, великодушие; другие, напротив, говорили, что он скуп, жесток и груб. Но дело в том, что в пользу обоих мнений можно было приводить доказательства. У него было несколько тяжб, но из всех их он выходил оправданным. Многие однако не довольствовались таким исходом и продолжали роптать, говоря, что еще до сих пор не видели примера, чтоб римский суд осудил когда-нибудь людей, имеющих сто тысяч дохода. Но если жизнь его казалась таинственной публике, то все злодейства его были совершенно явны для его несчастной семьи, которая из чувства стыда, а еще более из страха, не смела произнести о них ни слова. Семья его слишком хорошо знала, каким для него было наслаждением изобретать самые ужасные зверства, и чем они были страшнее, чем больше против них было общественное мнение, тем более они приходились ему по душе. Всякая выдумка этого рода должна была тотчас и во что бы ни стало приводиться в исполнение, – все равно, нужно ли было для неё издержать огромные деньги, сделать пожар или несколько убийств. Он имел обыкновение (до такой наглости дошел он) вести подробный счет своим издержкам на злодейства; и в его книге *воспоминаний* были записаны следующие подвиги: *на бедствия и испытания Тосканеллы 3300 цеккинов, – это не дорого. На похождения разбойников в Терни, 2000 цеккинов, – это деньги брошенные.* Разъезжал он всегда один, верхом, и когда замечал, что лошадь уставала, бросал ее и покупал другую; если ему не соглашались продать, он брал силою и в придачу еще наделял несколькими ударами кинжала. Опасность от нападения разбойников не останавливала его нигде, и он проезжал один через леса Сен-Жермано и Файолы; часто даже он отправлялся, ни мало не задумываясь, верхом из Рима в Неаполь. Появление его в каком-нибудь месте показывало, что произойдет наверное грабеж, пожар, или убийство, или вообще какое-нибудь большое бедствие.

Он обладал замечательною силой и был очень ловок во всякого рода телесных упражнениях; рассчитывая на это, он часто затевал ссоры со своими врагами, нанося им оскорбления и насмешки; но врагов открытых у него было не много, потому что его очень боялись и разду-

¹ Пальма, итальянская мера, равняющаяся почти четверти аршина.

мывали прежде, чем решались сразиться с ним. Он постоянно держал целую шайку разбойников; двор его палаццо был убежищем для всякого рода злодеев. Между жестокими римскими баронами он был самым жестоким.

Сикст V, римский папа, пригласив как-то в Ватикан синьоров Орсини, Колонна, Савели, графов Ченчи и других, из числа самых могущественных вельмож римских, после нескольких минут приятной беседы с ними, подошел к открытому балкону и, обративши взор свой на лежащий у ног город, сказал присутствующим:

– Или зрение мое помутилось от старости, или точно стены дворцов ваших, сиятельнейшие вельможи, украшены каким-то странным убранством: подите узнайте, что это такое, и сделайте одолжение, дайте мне знать.

Это были повешенные тела разбойников, укрывавшихся в дворцах присутствовавших вельмож. Папа велел схватить их и без всякой жалости повесить на зубчатых стенах дворцов.

Франческо Ченчи, после этого и нескольких других случаев, показавших ему вполне характер папы, счел более удобным убраться подальше; и до самой смерти его оставался в Рока-Петрела, прозванную Рока-Рибальда².

Ченчи был очень сильного сложения и, несмотря на преклонные лета, обладал вообще крепким здоровьем, только правая нога у него болела и он хромал. Одаренный воображением и даром слова, он мог бы приобрести славу замечательного оратора, будь другие времена, и не заскакивай его язык, при малейшем волнении, между зубами, отчего голос его походил на звук воды, бегущей между камнями. Наружность Ченчи далеко нельзя было назвать некрасивой; но при этом у него было такое злое выражение, что ему ни разу не удавалось внушить к себе любви, редко когда уважение, и слишком часто ужас. За исключением волос, превратившихся из черных в белые, нескольких морщин и цвета кожи, принявшей более желтый, желчный оттенок, лицо его оставалось таким точно, каким было и в молодости. Когда он бывал спокоен, на лбу его едва виднелась морщина, не та глубокая морщина, которую накладывает угрызение совести или забота, по едва заметная, легкая черта, которую иногда робко проводит любовь своим крылом на челе отцветающей красоты. Глаза его, обыкновенно грустные, оловянного цвета, как глаза разварной рыбы, без всякого блеска, окаймленные серыми кругами, и исполосанные кровяными, багровыми жилками, похожи были на труп в свинцовом гробу. Тонкие губы терялись в морщинах, покрывавших щеки. Лицо это одинаково пристало бы святому и разбойнику; мрачное, неразгаданное, как сфинкс, или как репутация самого графа Ченчи.

Кажется, я сказал уже довольно о его особе и его нраве. Ниже я постараюсь набросать психологический этюд этой замечательной личности.

Накануне, вечером, граф рано удалился на свою половину, не простившись ни с женою, ни с детьми. Слуге своему, Марцио, когда тот, по обыкновению, хотел ему прислужиться, он сказал:

– Ступай прочь; с меня будет Нерона.

Нерон был огромный и очень злой пес. Ченчи дал ему имя не столько в память жестокого императора, сколько потому, что слово это, на древнем, самнитском языке, означало: сильный или храбрый.

Улегшись, Ченчи начал поворачиваться на кровати, потом стонать от нетерпения; мало-помалу нетерпение перешло в ярость, и он начал реветь. Нерон отвечал ему с своей стороны тоже ревом. Не много погодя, граф вскочил с ненавистного пуховика и воскликнул:

– Пожалуй, отравили простыни!.. Тому был уже пример, я читал в какой-то книге... Олимпиа! А, ты у меня бежала, но я доберусь до тебя!.. Никто не должен миновать моих рук... никто!.. Что это за тишина кругом меня! Что за мир во всем доме? Все покоятся... значит я не тревожу их?.. Марцио!

² Рибалда – разбойник.

На зов тотчас прибежал слуга.

– Марцио, спросил граф: – что делает семья?

– Все спят.

– Все?

– Все, – так по крайней мере кажется, потому что все тихо в доме.

– И когда я не могу заснуть, в моем доме осмеливаются спать?.. Поди, посмотри, точно ли спят; послушай у дверей, особенно у Виргилиевой комнаты; задвинь потихоньку двери снаружи и возвращайся.

Марцио пошел.

– Этого я больше всех ненавижу, продолжал граф: – под этой оболочкой невозмутимого спокойствия кипит волна неповиновения! Змея без языка, но не без яду! Когда я дождусь твоей смерти?

Марцио, вернувшись, объявил:

– Все спят, и дон Виргилий также; но сном тревожным, сколько можно судить по лихорадочному дыханию.

– Ты запер его?

Марцио отвечал наклоном головы.

– Хорошо. Возьми это ружье, выстрели из него в дверь виргилиевой комнаты, и потом кричи во все горло: «огонь! огонь!» Вот я их научу, как спать, когда я не сплю.

– Эчеленца...

– Что тебе?

– Я не скажу вам: сжальтесь над умирающим ребенком...

– Продолжай...

– Да ведь этим подымеешь тревогу в целом околке.

Граф, не смутившись ни на волос, сунул руку под подушку, вытащил оттуда пистолет и направил его на слугу; когда тот изменился в лице от страха, он мягким голосом сказал ему:

– Марцио, если еще раз, вместо того, чтоб повиноваться, ты вздумаешь противоречить мне, я убью тебя, как собаку!.. Ступай!

Марцио пошел, более чем медленно, исполнить приказание.

Невозможно описать ужаса, в каком проснулись женщины и ребенок. Они вскочили с постелей, кинулись к дверям; но не имея возможности открыть их, начали кричать, умолять, чтоб им сказали, что случилось, просить, ради Бога, чтоб их отперли и снесли от страшного беспокойства. Ответа не было. Выбившись из сил, они бросились на постели, стараясь хоть в тревожном сне найти себе отдых.

Часа через два граф опять зовет лакея и спрашивает:

– Что, светло?

– Нет, ваше сиятельство.

– Отчего не светло еще?

Марцио пожал плечами. граф покачал головой, как бы смеясь сам над своим вопросом:

– А скоро ли начнет светать?

– Через час.

– Через час!.. Да ведь час, это вечность для того, кто не может спать! О, мой... смотри, я чуть-чуть не прибавил – Бог. Говорят, что сон спутник праведников. Если б это была правда, я бы должен спать, как спали семь спящих дев, – все вместе... Что же делать теперь?.. А! употребим этот остаток ночи на какое-нибудь похвальное дело; – займемся воспитанием Нерона!

И он велел Марцио взять какую-то соломенную куклу и отнести ее в зал, куда выходили комнаты его жены и детей; сам он отвел Нерона в другую комнату и стал дразнить и задорить его, потом, распахнувши вдруг дверь в залу, пустил его на соломенную куклу. Собака, не помня

себя от ярости, прыгая и лая отчаянно, кидается на куклу и рвет ее на клочки. Граф находил особенную отраду, любуясь подвигами этого животного, и вот что говорил он Марцио:

– Это сын мой возлюбленный, и я воспитал его так, чтоб он мог защищать меня от врагов и от друзей, в особенности от моих возлюбленных детей; от жены, еще более любимой, а также немножко и от тебя (и при этом он трепал его по плечу), мой вернейший Марцио.

Нагнавши таким образом страх и ужас на весь дом, он вернулся в свою комнату, где уже потребность самой природы, побежденной усталостью, принудила его отдаться краткому и прерывистому сну. Когда он встал, лицо его было пасмурно.

– Я видел скверный сон, Марцио!.. Мне снилось, что я обедал с моими покойниками. Это означает близкую смерть... Но прежде, чем я отправлюсь туда обедать, многие, Марцио, очень многие опередят меня, чтоб приготовить мне стол.

– Ваше сиятельство, пришли письма из королевства с нарочными...

Граф протянул руку за ними. Марцио продолжал:

– И из Испании с обыкновенной почтой; я их положил в кабинете на бюро.

– Хорошо. Идем...

И поддерживаемый Марцио, сопровождаемый Нероном, старик отправился к кабинету.

Великолепное августовское солнце едва всходило, золотя своими юными лучами лазуревый небосклон.

Граф подошел к балкону и, глядя на величественное светило, бормотал какие-то таинственные слова. Марцио, проникнутый радостью при виде этого великолепного неба и света, не мог удержаться, чтоб не воскликнуть:

– Божественное солнце!

При этом возгласе, глаза графа, обыкновенно потухшие, загорелись подобно молнии в туче, и он устремил их на небо. Если правда, что Юлиан-отступник бросил в небо кровь, которая текла из его смертельной раны, то он должен был бросить ее именно так, как был брошен этот взгляд, и с таким же намерением.

– Марцио, если б солнце было свеча, которую можно потушил, дуновши на нее, ты бы потушил ее?

– Я? Боже упаси, эчеленца! Я оставил бы его, пусть горит.

– А я так потушил бы!

Калигула желал, чтоб у римского народа была одна голова, чтоб отрубить ее одним ударом; граф Ченчи желал уничтожить солнце.

Он сел к письменной конторке, развернул и прочел одно письмо, затем другое, третье, сперва спокойно, потом с раздражением, и наконец все они полетели в сторону, сопровождаемые бранными словами.

– Все счастливы! О, Боже! ты это делаешь, право, мне на зло!

И, сжавши кулак, он опустил его изо всей силы. Случаю было угодно, чтоб кулак попал прямо в лоб Нерону, который, подняв морду, следил внимательными глазами за движениями своего хозяина. Собака подскочила от злости и кинулась в дверь, распахнула ее и скрылась, ворча и лая. Граф принялся звать ее и наконец последовал за нею, проговорив с горьким смехом:

– Видишь, Марцио, будь это сын, он бы укусил меня!

Глава II

Преступление

Марцио пригласил господина с красным лицом войти в кабинет к графу, который ждал его, стоя, и только-что увидел его, поклонился с большою любезностью, говоря:

- Добро пожаловать, князь: в чем можем мы вам быть полезны?
- Граф, мне нужно поговорить с вами, только тут есть лишний.
- Марцио, выйди.

Марцио, поклонившись, вышел. Князь пошел вслед за ним, чтоб удостовериться, что он хорошо закрыл дверь; задернул занавеску и потом подошел к графу, не мало удивленному всеми этими предосторожностями. Граф попросил его сесть и, не делая ни малейшего движения, приготовился слушать.

– Граф! теперь Катилина начнет свою исповедь. Но прежде всего скажу вам, что, уважая в вас человека с сердцем и умом, могущего помочь и советом и рукою, я обращаюсь к вам и за тем и за другим, и надеюсь, что вы мне не откажете.

– Говорите, князь.

– Моя бесстыдная родительница, начал князь тихим голосом: – своим развратом позорит дом мой, и частию и ваш, как состоящий в родстве с нашим. Года, вместо того чтоб потушить, разжигают только в её старых костях позорное сладострастие. Огромный доход, доставшийся ей по распоряжению моего глупого отца, она расточает с своими гнусными любовниками. По всему Риму ходят на нее памфлеты. Я вижу насмешки на всех лицах; куда бы я ни пошел, я слышу оскорбительные речи... Кровь кипит в моих жилах... Зло дошло уже до такой степени, что нет другого средства, кроме... Ну, скажите мне, граф, что мне делать?

– Светлейшая синьора Констанция ди-Санта-Кроче! Да в своем ли вы уме?.. Полноте. Если вы это говорите, чтоб посмеяться, то я вам советую выбирать шутки поприличнее; если же вы говорите серьёзно, то убеждаю вас, сын мой, не поддаваться искушениям дьявола, который, как отец лжи, смущает умы коварными образами...

– Граф, оставимте дьявола в покое. Я могу доставить вам доказательства слишком явные и позорящие.

– Посмотрим.

– Слушайте. Она оставляет меня, так сказать, по уши в нищете, между тем как она тратить все доходы на гайдуков и лакеев и на целую ватагу детей их, которые свили гнездо во дворце не хуже ласточек. Меня она с глаз гонит; не хочет слышать обо мне; – обо мне, граф, слышите, обо мне, который бы и думать не посмел о том, что она делает, если б она обращалась, как достойная мать с достойным сыном. И, чтоб уж сразу открыть вам все, вчера она выгнала меня из дому... из моего дворца... из дворца моих предков!..

– Дальше, есть еще что?

– Да разве этого мало?

– Мне даже кажется слишком много: и, по правде сказать, я уже давно заметил, что княгиня Констанция питает к вам, прости ее Господи, естественную ненависть. Сегодня ровно неделя с тех пор, как она мне много говорила про вас...

– Да?.. Что же говорила вам обо мне эта несчастная?

– Подкладывать дрова на огонь – не христианское дело, и потому я молчу.

– Теперь, граф, пожар, зажженный вашими словами, так силен, что вы уж немного можете прибавить; и с вашим умом вы это легко поймете.

– Слишком понимаю! И притом, мне тяжело молчать, потому что мои слова могут послужить вам руководством и не допустят вас дурно кончить. Синьора Констанция объявила поло-

жительно, в присутствии нескольких значительных прелатов и римских баронов, что вы будете позором вашего рода; что вы вор... убийца... и, пуще всего, лжец...

– Она сказала это?

И Санта-Кроче покраснел от бешенства, как раскаленный уголь; голос его дрожал.

– Кроме того, она говорила, что вы низким образом проматываете все свое достояние; что вы за деньги заложили ростовщикам-жидам ваш дворец и что она должна была выкупить его из своего кармана, для того, чтоб избежать стыда идти жить в чужом наемном доме; она говорила, что не раз платила ваши долги и что вы каждый день делаете новые, еще большие и худшие; что вы отчаянный игрок; что нет той гадости, в которую вы не влезли бы по уши; что вы отрицаете Бога и всякое уважение к человечеству... Наконец, что, в довершение всей гнусности вашего поведения, вы сделались пьяницей, напиваясь до состояния животного вином и водкой, и вас часто приносят домой в ужасном виде.

– Она сказала это?

– И что вы дошли до такой степени бесстыдства, что вас не удерживает уважение ни к матери, ни к месту, и вы приходите во дворец ваших знаменитых предков в сопровождении распутных женщин; и к этому она прибавила еще столько ужасов, что я краснею при одном воспоминании о них...

– Моя мать?..

– Она даже прибавила, что, считая вас положительно неспособным исправиться, она решила, как ни тяжело это её материнскому сердцу, прибегнуть с просьбой к его святейшему, чтоб он велел заключить вас в крепость, где вы кстати сделаете визит императору Адриану. Клянусь честью, это значит быть заключенным в прекрасном обществе...

– Она это говорила?.. продолжал вопрошать удивленный князь, между тем как граф отвечал ему тем же пронзительным, раздражающим голосом:

– Или в Чивита Кастелану... на вечное заточение.

– На вечное заточение!.. Именно так она и сказала, – на веки?

– И даже скоро... что она должна сделать это, ради чтимой памяти своего знаменитого супруга, ради своего светлейшего рода, благородных родных, своей совести и Бога...

– Достойная мать! Ну, не добрая ли мать у меня?.. восклицал князь голосом, который он старался сделать шутливым, хотя с трудом мог скрыть заметный страх. – А что отвечали прелаты?

– Эх! вы знаете притчу евангельскую? Дерево, не приносящее хорошего плода, вырубается...

– Однако, я вижу, что надо торопиться более, чем я думал. Граф, дайте мне совет... я не знаю, что мне делать... я в отчаянии...

Граф покачал головой, и серьезным голосом отвечал:

– Здесь, у источника всех благ, вы можете черпать их полными ведрами. Обратитесь к монсиньору Таверна, губернатору Рима, или даже, если у вас много денег и мало смысла, к знаменитейшему адвокату, синьору Просперо Фариназио, который, за деньги, изготовит вам какое хотите блюдо.

– Горе мне! у меня нет денег...

– Ну, без денег вы можете с большим успехом обратиться в колоссам Монте-Кавалло...

– И потом это было бы дело спорное, а мне нужны средства, которые бы не делали шуму... и в особенности средства скорые.

– В таком случае смиритесь и упадите к ногам папы.

– Горькое разочарование! Папа Альдобрандино старый, фальшивый и упрямый человек, алчный к приобретению. Я боюсь его и готов скорее кинуться в Тибр, головою вниз, чем обратиться к нему.

– Да, начал говорить граф с смущенным видом и оставив иронический тон: – теперь, как я подумал, я вижу, что это было бы и потерянное время, и потерянный труд. После важной ошибки, которую он сделал, приняв сторону моей непокорной дочери против меня, он верно сделался менее доступным к жалобам детей на родителей. Рим процветал до тех пор, покуда отец имел право на жизнь и смерть своей семьи.

– Так что же?.. спросил Санта Кроче, смущенный этой неожиданной выходкой, от которой у него опустились руки с отчаяния.

Граф Ченчи, сожалея о своей неуместной вспышке, поспешил ответить:

– О! для вас совсем другое дело.

Санта Кроче, утешенный этими словами и еще более отеческим взглядом, который обратил на него граф, придвинул стул и вытянувши вперед голову, начал говорить на ухо шопотом:

– Я слышал... и остановился; но граф ободрял его, подсмеиваясь.

– Ну, сын мой, продолжайте!

– Мне говорили, граф, что вам, как человеку осторожному, всегда удавалось... когда кто-нибудь докучал вам, избавиться от этого бельма в глазу с удивительною ловкостью. Как человеку сведущему в естественных науках, вам вероятно не безызвестны свойства некоторых трав, которые отправляют в царство мертвых не меня лошадей и, что в особенности важно, не оставляя никаких следов на большой дороге.

– Разумеется, травы имеют чудесные свойства; но в чем они вам могут помочь, я решительно не понимаю.

– Что касается до этого, то вам надо знать, что светлейшая княгиня Констанция имеет обыкновение пить на ночь какую-то травку для того, чтоб иметь хороший сон...

– Прекрасно...

– Вы понимаете, что весь вопрос в том, короткий или долгий сон; дактиль или спондей, пустиковина; право – простое слогуударение. – Говоря это, изверг принуждал себя смеяться.

– Господи, буди милость твоя на нас!.. Отцеубийство, так, для начала. Хорош первый опыт, чорт возьми! Злополучный человек! да подумали ли вы, что делаете?

Князь, стараясь казаться твердым, отвечал:

– Что касается до того, думал ли я, то этим не стесняйтесь, потому что я об этом думал раз тысячу; что же до первого опыта, то надо вам знать, что это вовсе не первая проба.

– Я поверю вам, если вы даже и не побожитесь: в таком случае придвиньтесь и мы обсудим этот предмет. Искусство составлять яды уже теперь не процветает, как в былое время: большее число удивительных ядов, известных нашим предкам, исчезло. Флорентинские князья Медичи трудились очень похвально над этой важной отраслью человеческого знания; но если мы возьмем в соображение все издержки, то польза была незначительна. Вот например aqua tofana; она никуда не годится для хорошего дела: волосы падают, ногти отскакивают, портятся зубы, кожа отстает клочками и все тело покрывается багровыми болячками – итак, вы видите, она оставляет после себя слишком явные и продолжительные улики. Ее прежде часто употребляли. Что до меня, то я снимаю шапку перед Александром Великим: мечем разрубается всякий гордый узел, и главное – сразу...

– Меч! Разве он не оставляет следов?

– Да кто же вам советует скрывать смерть донны Констанцы? Вы, напротив, должны объявить о ней и говорить открыто, что вы её виновник.

– Граф, вы смеетесь...

– Я не смеюсь; напротив, я говорю совершенно серьезно. Вы разве ни разу не читали истории, по крайней мере римской? Да, вы читали, хорошо; но какого чорта вы читаете книги, если вы из них не извлекаете ту пользу, чтоб уметь себя хорошо вести в свете? Вспомните угрозу Тарквиния Лукреции: он обещал убить ее, если она не отдастся ему; и бросивши к ней на ложе зарезанного раба, объявил, что она погибла от заслуженных терзаний за оскорб-

ление, нанесенное родителю, пала жертвою осквернения святости законов, – и много еще разных фраз, которые говорят в подобном случае. Так и вам надо сделать. Важность проступка извиняет убийство.

– Я однако ж не знаю, ответил князь с заметным смущением. – Нет... я не хочу подвергаться опасности делать это открыто, если б даже и мог...

– Скажите лучше, прервал его граф, коварно улыбаясь: – скажите лучше, что преступления вашей матери существуют только в вашем воображении и что они вам нужны для того, чтоб отыскать в других грехи, которые бы извинили ваши собственные. Признайтесь, что вас побуждает пуще всего желание получить скорее доходы вашей матери. И за это я не могу винить вас, потому что знаю, как родители распинают сыновей своих, если не гвоздями, то долгами; но я виню вас за то, что вы вздумали издеваться над бедным стариком и хитрить со мною...

– Граф, клянусь вам честью...

– Замолчите с вашими клятвами; уж это мое дело верить или не верить; а по мне клятвы все равно что подпорки у домов – верный признак, что дом обрушится: одним словом, вам я не верю и без клятв, а с клятвами и того менее.

– Ради Бога не отталкивайте меня! проговорил Санта-Кроче таким униженным голосом, что Ченчи показалось, будто он уже достаточно вытряс пороков из этого мешка, и потому, желая прекратить разговор, он с надменным смехом ответил:

– Сказать вам правду, я не могу дать вам путного совета. Я, помнится, читал где-то, как в былое время в одном подобном случае с успехом было употреблено следующее средство. Ночью была приставлена к стене дворца лестница, как раз под окном спальни той особы или тех особ, которых желали убить; потом исчезли или были тщательно истреблены некоторые золотые и серебряные вещи и разные мелочи для того, чтоб заставить думать, что убийство было сделано вследствие воровства; наконец окно было оставлено открытым, как будто из него выскочили воры. Таким образом было удалено всякое подозрение от того, кому эта смерть была особенно полезна. Но он и этим не удовольствовался и захотел заслужить славу строгого мстителя пролитой крови: начал осаждать судей, чтоб они нарядили самое строгое дознание; не переставал жаловаться на равнодушие суда, обещал награду в двадцать тысяч дукатов тому, кто тайно или изобличит виновного. Вот так-то умели вовремя и с полным спокойствием духа пользоваться наследствами умерших!

– А! воскликнул Санта Кроче, ударив себя рукою по лбу: – вы достойнейший человек, граф! Я готов быть вашим рабом и сидеть на цепи, если вы того потребуете! Знаете ли, что это именно то средство, какое мне нужно! Но это еще не все: вы бы довершили ваше благодеяние и сделали бы меня безгранично признательным, если б согласились вызвать из Рока Петрелла одного из этих храбрецов, которым вы поручаете подобные дела...

– Какие дела? о каких храбрецах вы бредите? Моток ваш, – вам и искать конец, чтоб распутать его; смотрите только, чтоб нитка не перерезала вам пальцы. Смотрите, мы с вами не видались и не должны больше видаться. С этой минуты я умываю руки, как Пилат. Прощайте, дон Паоло. Все, что я могу сделать для вас и что сделаю, это пожелать вам хорошего успеха.

Граф встал и простился с князем; покуда он с любезностью провожал его до двери, у него в голове вертелись мысли в роде следующих: «ведь есть же люди, которые говорят, будто я не помогаю ближнему! Клеветники! Возможно ли делать больше меня. Сосчитаем-ка, сколько людей получают поживу теперь из-за меня...»

Дойдя до двери, граф открыл ее, и провожая князя с своей обыкновенной приветливостью, прибавил отеческим голосом:

– Прощайте, дон Паоло, еще раз желаю вам всего лучшего.

Курат, услышав эти слова, прошептал тихим голосом:

– Какой достойный синьор! И как сейчас видно, что говорит от души.

Глава III

Похищение

Граф бросил взгляд в залу и, увидев там еще одного гостя, который был почетнее курата, произнес:

– Милости просим, герцог...

Гость с бледным лицом вошел в комнату, как потерянный: он или не слышал, или не хотел принять вежливого приглашения графа садиться. Одной рукой он оперся на конторку, как человек, у которого кружится голова, и из груди его вырвался глубокий продолжительный вздох.

– Какие вздохи! Что у вас за горести? спросил граф льстивым голосом. – Как в ваши лета у вас достает времени быть несчастливым?

Герцог голосом похожим на тихое журчанье воды, мог только ответить:

– Я влюблен.

А граф, чтоб ободрить его, весело прибавил:

– Так и должно быть в ваши лета, сын мой; и вы прекрасно делаете: любите всею душою и даже всем телом: вы молоды и красивы. Если вам не быть влюбленным, то кому же и влюбляться? Уж не мне ли? Посмотрите, года посыпают мне волосы снегом и сжимают сердце льдом. Вам говорят о любви и небо и земля; вам вся природа говорит – любите:

Ручьи о любви говорят, и зефир, и деревья,
И птицы, и рыбы, цветы и растенья,
И хором твердят, чтоб я вечно любил, –

пел сладостный голос Франческо Петрарка. – Полноте, молодой человек, разве этого можно стыдиться? Проповедуйте о ней с кафедры, кричите о ней на крышах; что за хорошая, право, вещь любовь! Петрарка был человек серьезный, каноник, и не стыдился сознаваться, что двадцать лет горел любовью к Лауре во время её жизни, и десять лет после того, как она улетела на небо. Святая Терезия была помилована, потому что много в свою жизнь любила; а иные говорят, что и слишком много. Та же самая святая считала дьявола несчастным; – и знаете почему? потому что он не может любить. Стало быть, любите! действуя иначе, вы оскорбляете природу, которая, как вы знаете, есть старшая её дочь.

Молодой человек закрыл лицо руками и, испустив протяжный вздох, воскликнул:

– Ах, моя любовь безнадежна!..

– Не говорите этого; самые двери ада не безнадежны. Обсудим. Не влюбились ли вы, чего доброго, в чужую жену? Тогда беда, потому что встречается преграда, и даже две: первая – муж, вторая – заповеди.

– О, нет, граф, моя любовь законна.

– Так в таком случае женитесь...

– Богу известно, как я желал бы это сделать; но, увы! такое счастье для меня невозможно.

– Ну, так не женитесь.

– Девушка, которую я люблю, к сожалению, более низкого происхождения, чем мне хотелось бы; но когда помотришь на чудную прелесть её форм, а еще больше, когда узнаешь возвышенность её души, то видишь, что она достойна короны...

– «То царская душа, достойнейшая власти», сказала Франческо Петрарка; и если так, то женитесь на ней.

– Когда тело мое превратится в прах, самая тень моя не расстанется с этой любовью во веки.

– Какой срок назначаете вы для этой вечности? У женщин, по самым верным исследованиям, вечная любовь длится целую неделю; у некоторых, но это редко, она еще продолжается кое-как до второго понедельника, но не больше.

Молодой, человек был до того поглощен своею любовью, что только теперь заметил, как дон Франческо издевается над ним; лицо его разгорелось от стыда, и он с досадою ответил:

– Граф, вы оскорбляете меня; я надеялся найти добрый совет; – я ошибся – виноват, и он сделал движение, чтоб уйти. Но граф, удерживая его, ласковым голосом произнес:

– Останьтесь, пожалуйста, герцог; я хотел испытать вас: теперь я слишком убедился, это вы пламенно любите и что ваша любовь роковая. Откройте мне вашу душу; я сумею принять в вас участие и мог бы даже помочь вам. Я похоронил свои страсти; шестьдесят или более лет, как проводил их до могилы и пропел им вечную память. Для меня любовь – воспоминание, для вас – надежда, для меня пепел, для вас распускающаяся роза; но не смотря на это, сердце мое узнает признаки старинной любви и, говоря со мною о ваших чувствах, вы можете смело повторить стихи Петрарки:

Числом поболее и поизящней складом.

Граф Ченчи, несмотря на свои уверения, продолжал насмехаться. Не менее того, трудно было отгадать: серьезно он говорит, или смеется, потому что лицо его было совершенно серьезно, и только глаза щурились и покрывались кругом целую сеть морщин, да веки слегка вздрагивали: граф смеялся не ртом, а глазами, как ехидна.

– Девушка, которую я люблю, живет в доме Фальконьери. Кто её родители, я не знаю; только несмотря на то, что все в доме обращаются с нею, как с любимую родственницею, она должно быть низкого происхождения. Увы! когда я в первый раз увидел ее в церкви, во всей красоте невинности и прелести, я лишился сна: всякая другая женщина мне казалась безобразною и достойною презрения.

– Боже! говорите тише, герцог; беда нам, если наши гордые римские барыни услышат вас. Они бы сделали из вас второе издание Орфея, – изорванного в клочки вакханками, с примечаниями и приложениями.

– Считаю легкую победу над нею, продолжал воодушевившийся молодой человек: – и Богу известно, как я в этом раскаяваюсь, я не пренебрег теми недостойными средствами, которые употребляются обыкновенно в дело, чтоб достигнуть цели любовных желаний. Горе мне! Эти-то средства вероятно и сделали меня ей противным и ненавистным. Кто знает, может она теперь ненавидит меня!.. И он остановился, чтоб удержать рыдания; потом тихим голосом продолжал: – чем, должны были звучать мои бесчестные предложения в ушах этой целомудренной девушки!

Граф с удивлением смотрел на него и думал; «такого новичка я в жизнь свою не видел.»

– Фальконьери, продолжал герцог: – велели предупредить меня, чтоб я бросил привычку ходить у них под окнами, потому что жениться на этой девушке я не могу, а она не из тех, которые захотели бы сделаться коей любовницей.

– Ну что ж вы?

– Я решился просить её руки...

– Другого средства нет; я сделал бы то же самое.

– Мои родные, узнав о моем намерении, напустились на меня, точно я затевал святотатство; кто начал мне говорить, что это оскорбление для благородной крови, кто, что я запятнаю этил свой дворянский род; одни стали пугать меня презрением всех родных, другие ненавистью друзей; словом, от всего этого у меня голова пошла кругом и я чуть с ума не сошел.

– Ну, да это дело серьезное; я на их месте говорил бы то же самое. – Впрочем всякое *неравенство сравнено с любовью*, говорит поэт. Что-то подобное воспевал со своею обычною прелестью Торквато Тассо в своей пасторальной сказке: помните, герцог?

– Боже мой! могу ли я что-нибудь помнить? У меня нет больше ни памяти, ни рассудка, ничего. Ради Бога, добрейший граф, у вас так много ума и опытности, укажите мне какое-нибудь средство от моих страданий!

– Помилуйте меня, мой милый, сказал граф, фамильярно кладя ему руку на плечо. – Вы правы...

– Да?..

– Но и ваши родные не виноваты. Вы правы в том отношении, что дым знатности не стоит дыма трубки. Ваши родные также не виноваты, потому что они вероятно видят, также как и я вижу, во всем этом коварство женщины, которая идет на пролом, по собственному желанию, или по наущению других. Не сердитесь, герцог, вы пришли вопрошать оракула и должны слушать его ответы, если б они были даже и неприятны. То, что вам кажется естественною недоступностью, по мне ничто другое, как обдуманное отталкивание, основанное на убеждении, что преграды разжигают страсть. Так как запрещенные яства возбуждают в нас еще больший аппетит, так точно и она рассчитывает, что сила вашей любви повергнет вас туда, где ей хочется вас видеть. Одним словом, тут видна сеть, закинутая в страсть, которою вы сгараете. Любовь – человеческое чувство; но поддаваться слепым движениям души достойно животных. Когда я был молод, люди не были так щекотливы. Молодой человек ваших лет, знатного рода, как только, бывало, ему понравится какая-нибудь смазливенькая плебейка, соблазнял деньгами. Если она не соглашалась, а это, могу вас уверить, случилось очень редко, по крайней мере в мое время, – он просто похищал ее. Если её родные роптали, он бросал им горсть золота и они умолкали; потому что народ лает, как Цербер, для того, чтоб получить что-нибудь. Когда красавица надоедала ему, а это случалось часто, ее выдавали замуж с небольшим приданным; и в женихах не бывало недостатка; во-первых, потому что я не вижу, что может быть унижительного для этих женихов, если их невеста удовлетворит прихоти дворянина; а во-вторых, потому что губы от поцалувов не изнашиваются, а напротив только обновляются, как месяц...

Герцог выразил невольный ужас. Граф не смутился и только более настаивал:

– Нет, сын мой, не пренебрегайте советами стариков: я побольше вашего видел дел на свете и знаю, как они делаются. Послушайтесь меня: я вам предлагаю золотое средство. Во-первых, овладейте вполне девушкою, и в этом все, или по крайней мере главная доля успеха, – с этим и вы должны согласиться; потом, если это вам удастся, обвенчайтесь с нею преспокойно, – и покойной вам ночи – будьте счастливы. Если вы можете обойти этот подводный камень, женитьбу, то старайтесь всеми силами обойти его; потому что, по моему убеждению, брак есть могила любви. Брачное да, это первый крик Гименея и в то же время последний вздох: агония любви, брак зарождается от любви так точно, как уксус от вина. Вы избегнете сверх того негодования родных и говора света, а это не малый выигрыш. Вы может быть скажете мне, что все это не более, как укушение комара, и я с вами согласен; но когда на вас налетят тысячи комаров, они изуродуют вам лицо, клянусь вам Богом; а вы не решитесь даже жаловаться на эти смешные раны, которые не менее того мучительны; всех этих неприятностей благоразумный человек, если только может, всегда постарается избежать.

– Нет, граф, нет; я скорей готов проколоть себе сердце ножом...

– Не спешите с дурными намерениями; разделаться с собою всегда будет время. Прежде чем избирать себе лекарство, обсудите хорошенько болезнь. Вы видите, мое предложение представляет вам два разных выхода, и в то же время два средства решить вопрос. Действуйте же сообразно с обстоятельствами и руководствуясь тем здравым смыслом, которым вы обладаете.

– А если она меня возненавидит?

– Вспомните стрелу Ахиллеса. Она залечивала раны, которые наносила: так и любовь залечивает раны любви; а у красоты рука щедра, чтоб отпустить грехи, которые делаются ради её. Простит, не бойтесь, простит; что-вы думаете, что свет войдет на выворот? Не садитесь на ветку, как перелетные птицы. Женщины, чаще чем вы думаете, пугают полицией, чтоб испытать храбрость любовника. В Спарте для того, чтоб иметь жену, надо было похитить ее; и я не нашел ни у одного из историков жалоб на это со стороны жен. Ерсилия небось не любила Ремула? Нам ли римлянам пугаться похищения, когда мы сами родилась от похищенных сабинянок?

Смущенный юноша, сбитый с толку всеми этими доводами, находился в положении человека, которого тащут вниз по скользкой горе.

Алчность всегда ходит с карманами, набитыми ватой для того, чтоб затыкать ею уши совести и не давать слышать своих собственных воплей. В порыве страсти, молодой человек бессознательно воскликнул:

– Как же мне поступить? Я не гожусь на это. Я не знаю, с чего начать. Где найти людей, которые бы решились из-за меня на такое роковое дело?

Граф подумал, что не подать помощи молодому человеку, значит бросить его посреди дороги; притом же у него в голове мелькнула и другая мысль, которая заставила его присовокупить:

– Для чего ж друзья, на свете? в этом деле я могу услужить вам, если только меня не обманули глаза. Говоря это, он половил к двери залы, открыл ее и позвал:

– Олимпий!

Подобно тому, как гончая собака подымает морду на зов охотника, мужик вскочил на ногу и, с грубою фамильярностью, ответил;

– А-га, эчеленца! вы вспомнили наконец, что я существую за этом свете и, ворча себе под нос прибавил; – наверное хочет отправить кого-нибудь за тот свет.

– Поди сюда.

Когда Олицпий вошел в комнату, чувство порабления, которое овладевает и самыми наглыми плебеями, при виде богатого убранства господских палат, заставило его снять шляпу, при чем его черные густые волосы рассыпались по плечам и смешались с бородою, сделав его похожим за аллегорическое изображение реки, увенчанной тростником. Его резкия черты лица казались выточенными из камня; впалые глаза, налитые кровью, с торчащими над ними бровями, более всего походили на волков в берлогах; голос у него был хриплый и резкий.

– Вы все еще живы, а? смеясь, спросил его граф.

– Э! это просто чудо. После последнего убийства, которое я сделал для вашего сиятельства...

– Что ты бредишь, Олимпий? О каких так убийствах? или об убийствах тебе снится?

– Мне снится? по вашему приказанию и за ваши деньги, и ударив своей огромной рукой по конторке он прибавил: – вот здесь вы мне отсчитали золотом триста дукатов, и это было не иного; – но так и быть, я ими удовольствовался, и об этом и говорить нечего. Коли мало взял, мой и убыток. Здесь...

Но граф и руками и глазами делал ему знаки, чтоб он перестал говорить об этом неприятном предмете.

– А! так это другая пара рукавов, продолжал невозмутимо мужик: – вам было предварить меня во время. Я думал, что мы между своими, дон Франческо; виноват. Когда я возвращался в свои горы, полицейский обвинялся около меня крепче моего пояса, шея моя чаще чувствовала веревку, чем губы фульету³, все деревья мне казались похожими на виселицы. Теперь в этом платье я сам почти не узнаю себя; потому-то я и решился вернуться, потому что бездействие-то

³ Фульета – стеклянка, в которой продается вино.

и есть, изволите ли видеть, отец всех пороков: а мне больше нечего было делать – и я даже стал было работать. Если в течение этого времени у кого-нибудь из врагов ваших выросло лишнее горло, которое вы не желали бы, чтоб он имел, мы налицо за приказаниями вашего сиятельства.

И правой рукой он горизонтально дотронулся до горла.

– Ты поспел, можно сказать, так же во время, как кизил в октябре; и я намерен употребить тебя, чтоб поднять соломенку, так как бревна теперь нет на руках; – повторяю, что это почти ничего, почти роскошь твоего ремесла, так только для того, чтоб тебе войти в колею.

– Посмотрим, что такое. И разбойник уселся с той ужасной фамильярностью, которая возникает только между участниками в преступлении. Он положил ногу на ногу, облокотился на поднятое колено и подперши рукою голову, с закрытыми глазами, отвислою, нижнею губой, казалось весь превратился во внимание.

– Этот молодой человек, который никто другой, как светлейший герцог Альтемс, начал дон Франческо.

– Хорошо! промолвил разбойник, не открывая глаз и сделав едва приметное движение головою.

– Страстно влюбился в одну девушку.

– Из наших, или ваших?

– А почему я знаю? горничная...

– Ни ваша, ни наша; заметил Олимпий, с пренебрежением пожав плечами.

– Удостоенная любви, она осмеливается оставаться непреклонною. Ее покровительствуют Фальконьери, у которых если б было столько родовых земель, сколько надменности, то нам осталось бы сеять в море. Она живет у них в доме и это придает ей храбрости; может быть, и даже без всяких «может быть», а наверное тут должна быть какая-нибудь связизшка с прелатом, но у меня нет ни охоты, ни времени удостовериться в этом; как бы то ни было, все это служит помехой герцогу...

– Кто меня зовет? спросил герцог, как бы просыпаясь.

– Бедный молодой человек; посмотри, как его отделали, страсть! Бьюсь об заклад, что вы не слышали ни одного слова из всего нашего разговора с Олимпием?

Герцог покраснел и опустил голову.

– Одним словом, Олимпий, ты должен ее украсть и привести куда тебе укажут.

– Других приказаний не будет, эчеленца?

– Покуда нет. Тебе надо пробраться во дворец; и если не будет возможности сделать это иначе, то проломай дверь или решетку у нижнего окна. Если бы и это не удалось, то пусти в ход веревочную лестницу...

– Успокойтесь; вы заботитесь о том, чтоб в Терачине были лихорадки⁴. С вашего позволения, башмашнику не учиться шить башмаки. Я эти вещи хорошо знаю и без вас, и еще много других, которых вы не знаете. Дайте сосчитать: один, два, три, мне надо четырех человек.

– Они будут...

– Нам нужны пистолеты и лошади. Сколько вы решились издержать на это предприятие?

– Да что, будет с тебя пятисот дукатов?

– Нет, синьор, мало. Надо заплатить людям, да оружие и лошади стоят денег, и мне останется суший пустяк.

– Ну, хорошо; за этим дело не станет. Восемсот дукатов, кроме благодарностей и больших милостей, на которые ты можешь от меня рассчитывать...

– Я велю изготовить телегу, чтоб перетащить их домой. Когда праздник кончен, лавры убираются. Куда мне отвезть девушку?

– Во дворец к герцогу, или в один из его виноградников, какой он укажет...

⁴ Терачина – место известное лихорадками.

– Ну, уж это не дело, эчеленца. Если полиция пронюхает, она прежде всего кинется в дом синьора герцога. Так вы лучше постарайтесь нанять какой-нибудь виноградник вдали от города, только употребите на это кого-нибудь не из ваших.

Граф посмотрел в лицо Олимпию и как-то странно улыбнулся, как будто подсмеиваясь, что тот его не понял; потом сел у конторки и стал писать. Разбойник сделал герцогу несколько кратких и грубых вопросов. Тот отвечал ему, как потерянный: он чувствовал, что им вертели, как буря вертит листьями; он чувствовал себя во власти тех змей, которые влекут к себе животных с тем, чтоб погубить их; ему хотелось противиться, хотелось бежать и он был не в силах. Злой дух победил, добрый ангел удалялся, закрывши лицо крыльями. Граф, хотя и занятый письмом, не мог не видеть победу порока над добродетелью простодушного молодого человека.

– Когда ж за дело? спросил он вдруг.

– Сообразивши хорошенько, я вижу, что ранее завтрашней ночи я не буду в состоянии, отвечал Олимпий.

– Завтра ночью, а! Да ты разве не знаешь, что песочные часы, которыми страсть меряет время ожидания, это все равно, что факел, с которого падают огненные капли на сердце бедного любовника? Ты стареешься: уж это не прежний Олимпий. Прежде тебе можно было отпечатать на лице: *cito ac fidelis*, этот девиз священного римского суда, который, впрочем, не мешает ему тянуть дела также долго, как осаду Трои, и произносить незаконные приговоры. Итак вместо рыси удовольствуемся шагом: на завтра...

Минуту спустя, наклонившись к герцогу, он спросил:

– Хотя по природе я избегаю всякого нескромного любопытства, однако не могу устоять против желания знать имя вашей возлюбленной, герцог?

– Лукреция...

– А! Лукреция. Это что-то роковое, право, что Лукрециям суждено кружить наши римские головы. Креция, Крециучиа, Крецина, я горю любовью к тебе и утром и вечером...

Кончивши писать, он встал, говоря:

– Олимпий, тебе верно надо отдохнуть и потому пора идти. Смотри, чтоб никто тебя не видел, когда будешь выходить из моего дома. Марцио!

Марцио вошел.

– Марцио, проводи Олимпию по потаенной лестнице в калитке сада, которая выходят в переулок. Прощай; не забывай.

* * *

– Как поживаешь, кум? спрашивал Олимпий, потрепав Марцио по плечу.

– Как Богу угодно, ответил довольно сурово Марцио.

– Ого, да ты не узнаешь меня что ли, Марцио?!

– Я, нет...

– Посмотри на меня хорошенько и ты увидишь, что тебе покажется то же, что и мне.

– А что тебе кажется?

– Мне кажется, что мы составим великолепную пару серег в ушах у госпожи виселицы.

– Олимпий, это ты?

– Дух виселицы производит тоже действие, как уксус к носу: просветляет ум и возвращает память...

* * *

– Граф, начал запинаясь герцог: – я боюсь показаться неблагодарным за вашу помощь и ваши советы... однако, я чувствую, что не в силах благодарить вас. Бог... (но и делаю дурно,

что призываю это святое имя в таком дурном деле, лучше было бы, если б я о нем не знал ничего). Пускай же судьба устроит это так, чтоб оно не кончилось слезами.

– А судьба за вас; потому что, как женщина, она любит молодых и смелых. Если б Цезарь не перешел Рубикон, разве он был бы диктатором римским?

– Да, но за то Марсовы Иды не видели бы его убитым пред статуей Помпея.

– Всякий человек со дня рождения находится под влиянием своей звезды. Итак, вперед. Отчего вы с неудовольствием отдаетесь в руки судьбе? Она управляет миром. Взгляните на Силлу, который лучше всякого другого умел решать споры топором, а ей все-таки посвятил великолепный храм.

И утешая таким образом, он провожал бедного молодого человека, который, вышедши от графа, шел как пьяный; до такой степени его взволновали и расстроили слова графа и все, происходившее в его присутствии. Он сознавал зло и прочувствовал еще большее; его толкнули на дорогу преступления, и он не в силах уже был свернуть с неё. Страсть, как змея, снимала его все с большей силой и душила в нем последние проблески добра.

Град, проводивши герцога, стал читать письмо, написанное им перед тем, прерывая иногда чтение для того, чтоб отдаться громкому смену:

«Предобрейший и светлейший монсиньор! Величайшее беззаконие, которое когда либо осквернило августейшую и благословенную столицу нашей святой религии, должно в ней совершиться. Герцог Серафим Альтемс, для удовлетворения своей необузданной страсти, замышляет с вооруженной силой похитить завтра ночью из дворца Фальконьери достойную девицу Лукрецию, служанку в доме вышепоименованных особ. Помощники герцога в злоумышлении – три или четыре самых отчаянных негодяя, под предводительством Олимпия, которого уже два года ищет полиция за воровство и убийство и за которого назначена премия в триста золотых дукатов. Будьте на-готове, потому что речь идет о людях привыкших ко всякого рода опасностям, которые только увеличивают их смелость. Об этом уведомляет вас человек, преданный правительству и порядку и заботящийся о величии святой матери церкви. Рим, 6 августа 1548 года.»

– Прекрасно: почерк узнать нельзя; через час это будет в благочестивых руках монсиньора Таверна.

Он сложил письмо, запечатал его и, сделав на нем крест, надписал: «монсиньору Фердинанду Таверно, губернатору Рима».

– Всякому своя честь: он герцог, с ним и поступают по герцогски. Об этой жемчужине, князе Павле, мы подумаем после. И вдобавок мы избавимся от Олимпия, если только он и в этот раз не вывернется. Сеть протянута по всем правилам искусства; но

Редко бывает, чтоб добрым затеям
Злая судьба не мешала.

Глава IV

Наказанное счастье

Молодые супруги вошли в кабинет. Муж с чувством поцаловал руку графа; жена хотела сделать то же самое, но ребенок, которого она держала на руках, раскричался и не допустил ее до этого. Была ли то случайность или предчувствие?.. человеку неизвестны таинственные пути природы. Граф внимательно посмотрел на молодую женщину; и когда он увидел, как она хороша, глаза, его сморщились и заметали искры.

– Кто вы такие, добрые люди, и что я могу для вас сделать!

– Эчеленца, начал молодой человек: – вы меня не узнаете! Я сын того бедного столяра... помните?.. разоренного тому ровно три года и четыре месяца... и если б не ваша милость, он кинулся бы в воду.

– А! теперь помню. Вы теперь уж сделались человеком, мое дитя; а добрый старик, ваш отец, здоров?

– Господь Бог отозвал его к себе. Поверьте мне, эчеленца, что последний вздох его был для Бога, а передпоследний для вас и вашего семейства; он не переставал благословлять вас и желать вам всевозможных небесных благ, какие только может пожелать человек.

– Пошли ему Бог царство небесное. А это ваша жена и ваш ребенок?

– Так точно, эчеленца. Жена моя только что могла взять молитву после родов, и я считал своим долгом привести ее поклониться вам и поблагодарить вас от всего сердца, потому что, после Бога, мы обязаны вам нашим счастьем.

– Вы счастливы?

– Очень счастливы, эчеленца, и только память об умершем родителе иногда печалит нас; но он был уже очень стар и умер, как дитя, которое засыпает... У него не было угрызений совести... и при жизни своей он спал спокойно... Бедный отец! И, говоря это, он отирал слезы.

– А вы, моя милая, счастливы?

– Да, благодаря Святую Деву, я счастливее, чем можно себе представить. Микель любит меня; я люблю его; оба мы не надышимся на нашего милого ангела. Микель зарабатывает довольно, чтоб прожить, да еще и остается; так что, вы видите, эчеленца, нам не быть довольным, значило бы гневить Бога.

Когда она это говорила, лицо её сияло.

– Итак вы счастливы? в третий раз спросил граф мрачным голосом;

– И можем сказать, благодаря вашей милости, эчеленца. Вступивши в дом Микеля, я выучилась почитать ваше имя. Первое слово, которому я научу моего милого ангела, будет благословение имени доброго барона Франческо Ченчи.

– Вы наполняете сердце мое радостью, говорил граф, стараясь скрыть свое бешенство и для этого цалуя ребенка и лаская его; – добрые люди! достойные души! то малое, что я сделал, не стоит стольких благодарностей; и притом, на нас, щедро ударенных богатством, лежит обязанность помогать бедным. К чему деньги, если не за тем, чтоб помогать несчастным? Разве они могут быть употреблены лучше этого? Ведь мы этим самым отдаем из на проценты в рай, где они вернутся нам сторицею. Мне надо благодарить вас, мои милые, за то, что вы доставили мне случай сделать добро.

При этом он достал из конторки ящик и взявши из него полную горсть золотых поднес их молодой женщине, которая вся покраснела и стала отказываться; но граф настаивал, говоря;

– Возьмите, моя милая, возьмите. Вы обидели меня тем, что не дали мне знать о рождении этого славного мальчика, мне следовало быть его крестным отцом. Купите себе ожерелье

и носите его для искупления этого греха: да постарайтесь также, чтоб вам достало и на хорошенькое платье для ребенка, потому что хотя он и прехорошенький, однако, как говорит поэт:

Часто нарядное платье украшает красоту.

Я хочу, чтоб видя его все восклицали: о счастлива та которая выносила его; и ваше материнское сердце возрадуется.

Молодая мать сначала улыбалась; потом расстроганная этими добрыми словами, она заплакала, но улыбка не покидала её лица. Так весною идет дождь сквозь солнце.

– Продолжайте любить друг друга говорил граф, торжественным тоном отца; – да не возмутит никогда ревность ясности ваших дней, живите спокойно и в страхе Божиим. Поминайте иногда меня в ваших молитвах, меня, бедного старика, который, поверьте, не так счастлив, как вы думаете (и при этом Ченчи сделался еще бледнее обыкновенного), и если вы будете в нужде, обращайтесь ко мне, как к отцу.

Молодые супруги нагнулись, чтоб поцеловать ему колени, но он не допустил их до этого и проводил напутствуя добрыми словами. Проходя по зале, они не переставали восклицать:

– Какой благочестивый барин! какой щедрый вельможа!

Слуги, слыша эти слова, переглядывались, пожимая плечами; и один из них, самый смелый, пробормотал сквозь зубы:

– Видно дьявол превратился в капуцина!

– Счастливы! счастливы! заревел Франческо Ченчи, давая полную свободу своей скрываемой злобе: – и еще приходят говорят это мне прямо в глаза. Они это сделали нарочно, чтоб только мучить меня зрелищем своего счастья! Это самое ужасное оскорбление, какое я вынес когда либо! – Он с бешенством распахнул дверь и кликнул Марцио. В это время курат попался ему на глаза, но он бросил на него такой взгляд и таким тоном спросил его, что ему надо, что бедняк затрясся и начал было лепет что-то, но граф его не дослушал и ушел в кабинет сопровождаемый Марцио.

– Марцио, беги за Олимпием, догони его и приведи сюда, – ступай живей; если ты с ним скоро вернешься, получишь десять дукатов.

– Я вам дам знать! Вы мне кровавыми слезами заплатите за то, что смели объявить в глаза Франческу Ченчи, что вы счастливы.

* * *

Марцио вернулся с Олимпием и получил обещанную награду, после чего граф ему велел выйти.

– Что нового, эчеленца? спросил Олимпий, когда они остались одни.

– Еще маленькое дельцо. Ты знаешь столяра, что живет на Рипете? Тот самый, который выстроил дом на мои деньги?

– Тот парень, который ждал в зале? – Разумеется знаю и знаю, где живет; когда вы велели перестроить дом, я ходил смотреть его; хотел на самом месте угадать причину вашего благодеяния.

– А разве я не имею обыкновения делать добро? А то, что я теперь делаю для тебя – разве не благодеяние? Не прибавляй хоть неблагодарности ко всем твоим грехам, потому что этот грех больше всех противен ангелу хранителю. – Завтра ночью...

– Я не могу, я уже условился с герцогом... Разве вы не поймите?

– Я извиню тебя перед герцогом...

– Нет, уж увольте, я из уважения к моему ремеслу не могу отказаться...

– Я устрою так, что он сам уволит тебя...

– О! тогда другое дело.

– Тогда завтра ночью, ты заберись как-знаешь в лавку столяра; собери в кучу все вещи и все дерево, какое там найдешь: подожги все это, запри лавку снаружи и уходи. За это доброе дело ты получишь сто дукатов. Служи мне верно, и я скоро обогащу тебя. И вправду, как мне лучше употребить свои деньги? Ты сам с этим согласишься. Уходи через сад, да смотри, чтоб тебя никто не видал.

Олимпий повиновался.

* * *

Франческо Ченчи, оставшись наедине, начал потирать руки от удовольствия и произносить отрывистые фразы.

– Вот праздник сегодня. Это называется жить! Затеяно отцеубийство; подготовлено похищение и пожар, и злодеям сделана измена... Покуда я живу на этом свете, дьявол может отослаться на отдых... Я противоположность Тита: тот вздыхал, когда проходил день и он не сделал ни одного доброго дела; а я выхожу из себя, если не сделал десятка два злых дел. Тит – шарлатан человечества! иезуит язычества! Это подтвердят Иудея и пожары, потушенные потоками человеческой крови; а толпы распятых, для которых не доставало крестов, а одиннадцать тысяч невольников умерших с голоду, а тысячи людей брошенных на растерзание диким зверям за то, что мужественно защищали родину. Ничтожный человек, не умевший ни любить, ни ненавидеть: ты плакал дозволив убийство полутора миллиона людей, и плача допустил вырвать из твоих объятий прекрасную Веронику. Домициан, брат твой, был вылит не из такого металла: у него было железное сердце, чело из бронзы: это был величавый образ короля. Молния не разбивает подобных полубогов; коснувшись до них, она их только освещает. К чему и жизнь, если потомство не будет дрожать при вашем имени, и трепетать, чтоб ни слова не поднялись из наших гробов? Я поклоняюсь силе. Все ложь, кроме силы: она раскаленным железом кладет свое клеймо на чело поколений...

Глава V

Еще о Франческо Ченчи

Я еще не довольно сказал о Франческо Ченчи. Ум его представляется таким странным, сложным и даже уродливым, из всего, до сих пор виденного, и из того, что увидят далее, что на этом действующем лице необходимо еще остановиться.

Не знаю, так ли теперь, но было время, когда в Риме свирепствовали страсти, вырывая человека из его обычной беспечной жизни. Все вышло в то время из границ, и происходили вещи более бесчеловечные, чем великия. Кто был доблестнее Цезаря? кто добродетельнее Катона? кто мог назваться таким же политиком, как Август, или сравняться в притворстве с Тиверием, в жестокости с Нероном, в безтолковости с Клавдием? В ком наконец можно найти более великодушные, как в Антонинах? Женщины также доходят до высшей степени разврата и целомудрия, коварства и верности. Самые здания, вместо того, чтобы поддаться времени, повидимому властвуют над ним: они стоят незыблемо, и целые века, с их непогодами, и целые поколения людей, все разрушивших, не могли разрушить их. По Европе, Азии и Африке рассеяны остатки этого могущественного народа, подобно костям покойников, для которых целый свет был кладбищем. Римский орел, в беспредельном своем победном полете, рассеял перья своих крыльев по всей вселенной. Рим с высоты Капитолия раскинул железную сеть на человечество; позже он пытался раскинуть другую сеть – сеть веры и угроз, – думая покорить снова людей. Только под тенью Колизея и могла родиться у пап мысль сделаться царями души. Когда они согласились переселиться в Авиньон, они на самом деле сделались рабами рабов. Пощечина, данная Бонифацию VIII, нанесла папству оскорбление, от которого ему трудно было бы подняться; но процесс, затеянный от имени Бонифация недостойным Климентом V, нанес уже незалеченную рану папскому влиянию...

Рим воинственный кидался на врага, как лев, терзая или милуя его. Рим духовный, как хищный зверь, следит издали за врагами, и только в самый день битвы протягивает руку за добычей. Рим пал, сперва как борющийся гладиатор, потом, как раздавленное пресмыкающееся; но в обоих случаях он показал поразительную живучесть духа; поэтому-то ему не суждено погибнуть, но переродиться. Гладиатор пал, обливая кровью землю, но поднялся снова и продолжал бороться до тех пор, пока из раны его не начали сочиться последние капли крови, – редкие и тяжелые капля, как первые капли дождя в грозу. Змея же, с рассеченным позвоночным столбом, продолжает двигаться: ей нужно жить во что бы то ни стало, хотя бы даже жизнь проявлялась в последних предсмертных судорогах. Римский факел, зажженный два раза рукою судьбы, покуда у него хватило смолы, не переставал кидать искры, способные испепелить или осветить целое поколение.

Франческо Ченчи был чем-то в роде испорченного дыхания древнего римского гения; дыхание, вышедшее из раскрывшейся гробницы, но тем не менее дыхание латинское: натура необузданная, язвительный ум, беспощадная душа с ненасытимой жаждой к жестокости и ко всему необыкновенному, сверхъестественному. Если б он жил во времена Брута, то не только осудил бы на смерть своих детей, но, простирая свою запальчивость до нарушения законов природы, сам отрубил бы им головы. Он сначала отличался любовью к наукам, но впоследствии смеялся над ученьем, называя его суетою и игрою воображения, или пользовался знанием, как сибариты розою, употребляя ее орудием смерти. У него были большие богатства, и он расточил их, не будучи в состоянии дойти до разорения. Одаренный чрезвычайной силой чувства, мысли и действия, он мог избрать одну из двух дорог: дорогу добра или зла. В те времена круг добра был ограничен: семейные привязанности, помогать бедным подаянием, которое увековечивает нищету; жизнь мирная; смерть темная; память длящаяся, как эхо голоса. Век, в кото-

ром он жил, не давал простора для его деятельности: это было время агонии для итальянского духа; наше небо одевалось в свинцовую шапку дантовым лицемеров, которая позволяла людям двигаться вперед едва на один вершок во сто лет. Не смотря на это, он ознаменовал начало своей жизни большими подвигами, но люди и обстоятельства сумели отучить его от добра, – оно ему скоро опротивело, потом он стал презирать его и наконец возненавидел. Он обратился к злу, и сказал ему, как демон: «будь моим добром!» Ему понравилась роль Титана и казалось смелостью поднять к небу возмущившееся чело и вызвать его на бой. Все его желания обратились к злу, в нем искал он средства прославиться и любил его с опьянением страсти и с упорством расчета: превзойти в злодействе все, что существовало до него, казалось ему таким же подвигом, как перенести на другое место геркулесовы столбы или открыть новый свет. Он принял узы брака для того только, чтоб иметь наслаждение расторгать их; он искал самых нежных привязанностей для того, чтоб разбивать их или язвительными насмешками, или кинжалом; в Бога он не верил, но чувствовал его присутствие, как гвоздь в сердце, и кощунствовал над ним, подобно тому, как медведь грызет копьё, ранившее его, думая тем облегчить рану; словом, это было соединение Аякса и Нерона с обыкновенным разбойником. Он жил для пытки себе и другим: ненавидел и был ненавидим; питался злодеяниями, и злодеяние убило его.

Глава VI

Беатриче

Она была прекрасна. Уста её были похожи на цветок, а вся она на неземное существо; глаза её часто и надолго возносились к небу: созерцала ли она свою родину, в которую ей суждено было скоро вернуться, или ей представлялись таинственные видения, ясные только ей одной, или наконец, любимый образ родных небес звал ее и манил к себе? Когда она возвращалась на землю и смотрела своим открытым и пронизательным взглядом, то одних заставляла трепетать, как уличенных в чем-то недобром, если сердце их не было чисто, других – плакать от умиления... Довольно ей было явиться на пир, чтобы от блеска её глаз и свет факелов был сильнее, и гармонические муки музыки стройнее, и радость разливалась в молодых сердцах. Стоило ей покинуть праздник – и холодное дыхание скуки распространялось внезапно и отрицало общую радость.

Беатриче сидела на террасе дворца Ченчи, выходящей в сад. На коленях она держала ребенка, в котором по глазам, цвету волос, и вообще по сходству, нельзя было не узнать её брата; она с любовью ласкала его волосы и беспрестанно целовала в лоб. Голова ребенка склонилась к ней на грудь, и он устремлял на нее такой неподвижный взгляд, как будто мысли его где-то вне этого мира.

– О чем ты думаешь, мой дорогой Виргилий? спрашивала его печально Беатриче.

– Я думаю о том, что было бы хорошо для нас не родиться на свет!

– Ах, Виргилий...

– А так как этому помочь нельзя, то лучше всего поскорей его покинуть...

– Покинуть! Отчего?

– А зачем оставаться? Мое сердце, вот тут внутри, уже умерло, я это чувствую; а когда сердце умерло, тяжело его переживать!..

– Ты едва только взглянул на жизнь, брат мой, и говоришь такие отчаянные слова, это не хорошо; живи и радуйся; ты не знаешь еще, какие розы готовит тебе судьба.

– Розы? судьба?.. Нет, смерть собирает цветы для венка на мой гробик... Судьба покинула меня в тот самый день, как умерла наша мать...

– Но мы не можем считать себя совершенными сиротами, разве добрейшая синьора Лукреция не любит нас, как мать?

– Да; но она не мать...

– А разве у тебя нет меня? и разве я не люблю тебя? А кросе меня разве у тебя нет братьев, отца?

– Какого отца?

Беатриче, пораженная внезапным ужасом, при этих словах ребенка, остановилась, и только после долгого молчания, нерешительным голосом прибавила!

– Разве Франческо не отец твой и мой?..

Мальчик опустил голову, закрыл глаза и, скрестивши на груди руки, протоптал нетвердым голосом:

– Сестра, посмотри мне на лоб, и том месте, где начинаются волосы: видишь там шрам?.. видишь? Знаешь, кто ранил меня? Я тебе не говорил до сих пор; но теперь, когда чувствую, что скоро умру, я могу тебе признаться. Часто я думал о том, почему Франческо Ченчи не любит меня и не ласково на меня смотрит? Я чувствовал, что ничем этого не заслужил. И раз как-то, собравшись с духом, бросился ему в ноги и хотел поцеловать его руку. Он как закричит: «пошел вон, ты не мой сын!» и так крепко ударил меня в грудь кулаком, что я упал навзничь и головой ударился об угол шкафа, что стоит у него в кабинете. Франческо Ченчи видел, что я

лежу в обмороке, весь в крови он это видел и не поднял меня!.. Вот откуда взялась моя рана, и вот причина болезни, от которой я чахну...

Беатриче вся дрожала и не в силах была произнести ни одного слова. Ребенок с возрастающим страданием поднял рукав рубашки и протянул к сестре исхудалую руку.

– Смотри, прибавил он: – на следы этой раны. Знаешь, кто сделал ее? – Нерон; и слушай, как это случилось. Раз как-то я сорвал в саду отличный персик, и сказал себе: «пойду-ка поднесу его отцу, может он будет доволен» С этими мыслями я отправился в его комнату, открыл дверь и вижу, он читает. Чтобы не потревожить его, я подхожу тихонько, как вдруг на меня кинулся Нерон и укусил мне руку; я корчился от боли... Отец смеялся.

Грудь Беатриче волновалась, словно готова была разорваться на части.

– И не случись тут Марцио, он допустил бы собаку растерзать меня. Полюбуйся еще! и ребенок разделил волосы на макушке: – видишь это место? Тут недостает целого клок волос... Знаешь, кто мне вырвал их? – отец. Вскоре после того, как я ударился об шкаф, с перевязанной еще головой, вне себя от горести, я с решимостью явился к отцу и сказал ему: «отец мой, чем я оскорбил вас? за что вы ненавидите меня? благословите меня, ради Бога, благословите вашего сына, который любит вас!» Он, намотав клок моих волос себе на палец, ответил мне этими словами, – слушай, именно этими словами: «если б у тебя была голова из серы, и слова были огонь, я бы дал тебе благословение, чтоб сжечь тебя! Ступай прочь, эхидна; я неважжу тебя, а потому и ты должен меня ненавидеть; на что мне твоя любовь, шенок!» При этом он дернул так крепко за волосы, что мне казалось, будто вся кожа отделилась от черепа. Клок волос остался у него в руке. Вместо того, чтоб пожалеть меня, он пришел в такую ярость, будто ему, а не мне было больно. «Я проклинаю тебя!» кричал он, «и твоих детей, если они у тебя будут, чтоб всем вам жить в нищете, чтоб всем вам сделаться злодеями, убийцами и умереть на виселице!» Теперь, сделай милость, скажи мне, Беатриче, могу ли я желать жить? Мать меня покинула, отец проклял, так не лучше ли мне умереть? Разве я говорю не правду, сестра?..

И ребенок плакал навзрыд.

Для таких страданий не было утешения. Беатриче чувствовала это и молчала, лоб её покрылся потом и частые капли его падали как слезы из глаз. Когда прошло уже довольно много времени в тяжелом молчании, Беатриче, преодолев страдание, которым была полна душа её, попробовала утешить брата нежным голосом:

– Успокойся, Virgilij, ты может выбрал дурное время...

– Нет, он был спокоен.

– Может быть он был расстроен какими-нибудь тайными заботами...

– Нет, он был весел... После того, как собака укусила меня, он начал играть с ней... с собакой, которая чуть не растерзала сына!.. Теперь и я уж не люблю его... Знаешь, когда я его вижу, у меня кровь бьется в жилах и от его голоса у меня голова болит.

Беатриче изменилась в лице: ей делалось дурно; но она силою воли победила природу и пересилила себя; она подняла глаза к небу, хотела говорить, и не могла; вместо слов у неё вырвались рыдания. Она переждала немного, и тогда голосом, который старалась сделать паническим, сказала:

– Не будем отчаиваться, мой Virgilij; но будем молить Бога, чтоб он внушил более человеческие чувства к нам нашему родителю.

– О, Беатриче!.. И ты думаешь, что я не молил его? О, как часто я молился!.. Ночью, накануне того дня, когда Франческо Ченчи оттолкнул меня от себя и размозжил мне голову, я встал тихонько с постели и в одной рубашке, босиком, отправился вниз в капеллу, и на коленях, перед мощами святого патрона нашего семейства, молился, чтоб душа отца смягчилась и чтоб он имел хоть немного любви к нам за ту страстную привязанность, какую мы питаем к нему... Видишь, как услышаны мои молитвы!

И помолчав минуту, он продолжал:

– Но другую молитву мою услышал Бог: это, когда я в драгой раз встал с постели и опять молился в часовне перед чудотворным распятием: *сжался надо мною, Божественный Испытатель, и дай мне любовь отца, или отзови меня к себе с миром*. На эти слова, Иисус наклонив голову, как будто отвечал мне: «твоя молитва услышана»...

– Он услышит всех нас и вселит кротость в сердце отца.

– Я знаю наверное, что вторая моя молитва услышана, а не первая; потому что, когда я вернулся и лег, я ясно слышал голос, который звал меня: «Виргилий! Виргилий!» Я встал, открыл дверь и никого не видел; лег, и голос опять стал звать меня: «Виргилий! Виргилий!» Уж в этот раз я не ошибся, я отвечал: «кто зовет меня?» а голос: «я зову тебя из рая.» «Я готов, Господи!»; голос отвечал: «нет, еще твой час не настал, но приближается».

– Это воображение, лихорадочный бред; полно, не предавайся грусти, я хочу видеть тебя веселым...

– Отчего ты называешь это воображением? Разве мы не читали в священном писании, что Самуил слышал голос Господень? Еще вчера ночью, открывши глаза, я видел, что комната вдруг наполнилась светом, и в нее вошла прекрасная женщина, в голубом платье, покрытая драгоценными камнями, подошла к моей кровати, наклонилась, положила голову около моего лица, поцаловала меня в лоб и исчезла: губы у неё были ледяные, и холод охватил меня... Хочешь знать, Беатриче, на кого была похожа эта женщина? На портрет нашей матери, который висит в большой зале. Мне все говорит о смерти. Разве я не чувствую, что таю как свечка!

В эту минуту прилетела птичка и присела отдохнуть на перилах террасы: севши, она принялась вертеть головкой во все стороны, точно боялась, чтоб её не спугнули; потом успокоилась и начала прыгать и клевать носиком; наконец посмотрела на дитя, запела, подняла крылышки и улетела.

– Ах, если б я мог полететь за нею, воскликнул Виргилий. Она верно знает своего отца, и верно мать смотрит из гнезда и ждет её возвращения. Мать моя! мать моя! Беатриче, скажи мне, где теперь наша мать?..

– Наша мать? Она там – в раю.

Я знаю, душа её там, со святыми: но я желал бы знать, в каком месте ее похоронили? Можешь ты показать мне, Беатриче? Граф никогда не позволял водить меня на гробницу матери.

Беатриче, желая переменить тяжелый разговор, встала и, исполняя желание дитяти, посадила его на перила террасы и перевесилась всем телом вперед.

Солнце закатывалось и посылало земле, на прощаньи, своя последние, грустные лучи. При каждом потухающем луче, представлялось новое чудо: краски делались все нежнее и слабее, как звук песни на поверхности воды. Шпили колоколен, верхушки гор, отдаленные тучи, казалось, старались удержать последний, трепетный луч, – так с балкона или с пригорка, машут путешественнику белым платком, до тех пор, покуда фигура его не сольется с вечерней темнотой... О Боже! он сейчас исчезает! Глаза матери, потемневшие от слез, уж не различают его более; она вытирает их своим покрывалом, в надежде еще различить его вдали, напрягает их еще с большей силой... увы! сын её исчез: – когда-то она увидит его вновь? Таинственные голоса неба и земли шептались между собою: растения, воды испускали чуть слышные вздохи...

Беатриче наклонилась над перилами, говоря:

– Там, далеко, вон за этими горами, есть земля, которую мать принесла в приданое Франческо Ченчи: там есть церковь святых Петра и Павла. В этой церкви, в мраморной гробнице, направо от входа, лежит тело нашей дорогой матери.

От движения тела Беатриче, медальон и спрятанное на груди письмо упали в сад.

– Боже мой, моя тайна! вскрикнула молодая девушка пронзительным голосом, с зардевшимся от стыда лицом.

Франческо Ченчи, спрятавшись в лавровой беседке, давно не опускал глаз с детей и, казалось, хотел отравить их своим взглядом. Только что он увидел упавшее письмо и медальон, он кинулся, чтоб поднять их, но не так скоро, как ему желалось бы, потому что больная нога служила ему помехой. Беатриче бросила на него взгляд, исполненный ужаса, и с отчаянием повторила два раза:

– Моя тайна! моя тайна! Я отдам жизнь свою тому, кто спасет ее!

Ребенок посмотрел на нее, побледневшую как смерть, взглянул на старика и, полный решительности и храбрости, с отчаянным усилием ухватился за выдающийся карниз террасы, спустился по нем в сад и с быстротою молнии схватил письмо и медальон.

– Поди сюда, кричал рассерженный старик: – поди сюда... подай мне эти вещи...

И так как Виргилий, делая вид, что не слышит, пустился бежать прямо домой, граф в бешенстве ревел:

– Проклятая ехидна! Подай мне сюда письмо... скорей... Если я догоню тебя, я вырву тебе сердце своими собственными руками.

Ребенок бежал все скорее. Франческо, ослепленный гневом, крикнул:

– Нерон! Сюда Нерон... лови его, и обеими руками дразнил и усыкал собаку на сына.

Разъяренная собака кинулась, но напрасно. Виргилий пробежал уже порядочную часть дороги, и когда он услышал за собой собаку, когда ему представилось, что она уже вцепилась зубами в его икры, у него точно выросли крылья: – он уж не бежал, а летел. Переступая на две ступеньки разом, взбежал он по лестнице, вручил сестре письмо и медальон, и задыхаясь и выбившись из сил, повалился у ног Беатриче.

Мгновение спустя, собака с лаем кинулась на террасу: глаза у неё так и горели, горячий пар валил изо рта. Беатриче в испуге бросает кругом отчаянный взгляд и видит в нише сложенное древнее оружие, для украшения террасы: она выдернула шпагу и стала перед лежащим братом. Разъяренная собака, нагнув морду, бросилась в сторону, чтоб добраться до него, но неустрашимая девушка наносит ей в грудь удар с такой силой, что шпага вонзается до самого сердца. Обагренная кровью, собака повалилась на спину с воем и тут же околела.

Теперь новая опасность, и еще большая. Франческо Ченчи является взбешенный, с кинжалом в руке; он едва может говорить от злости.

– Где эта зловредная змея, чорт побери! Кто убил Нерона?... Кто?

– Я.

– Хорошо, разделаюсь и с тобой... но прежде давай змею.

И он нагнулся, чтоб заколоть сына. Беатриче подняла окровавленную шпагу, направила её острие к груди Ченчи и с выражением лица, которое передать невозможно, сказала:

– Отец... не тронь его...

– Изверг! Поди прочь, говорят тебе, – кричал отец, стараясь добраться до лежащего ребенка.

Беатриче с страшным спокойствием повторила:

– Отец! не тронь его!..

При звуке этого голоса, который заключал в себе в одно и то же время и последнюю мольбу и последнюю угрозу, Франческо Ченчи остановился и устремил глаза на дочь.

Куда девалась девушка, с нежным выражением лица? Широко раскрытые глаза Беатриче сверкают как молния, вздернутые ноздри дрожат, губы сжаты, грудь высоко подымается и распутившиеся волосы падают на плечи: одна нога её вытянута вперед, все тело откинулось назад, левая рука сжата в кулак, правая с поднятой шпагой готовится нанести удар. Ни живописец, ни скульптор не сумели бы изобразить Беатриче в эту минуту; слова и подавно не в состоянии этого сделать.

Франческо Ченчи был поражен и в восхищении смотрел на нее; рука его опустилась и выронила кинжал; на минуту душа его смягчилась. Беатриче бросила мечь в сторону. Старик простер к ней объятия и с нежностью воскликнул:

– Как ты хороша, мое дитя!.. И зачем ты меня не любишь?

– Я? Я буду вас любить... и она бросилась к нему на шею.

Отец и дочь обнялись.

Но хорошие чувства длились у нечестивого старика так же коротко, как блеск молнии. Он чувствовал к добру такое же отвращение, как другие к злу. В одно мгновение в нем явились все признаки преступного пароксизма: глаза его прищурились, веки затрепетали тем сластолюбивым трепетом, от которого пробегала дрожь по телу; он уже гладит её волосы, трогает шею и плечи, целует ее и, наклонившись к ней на ухо, шепчет ей что-то...

Беатриче вдруг откинула назад бледное, как смерть, лицо; вырвалась из его объятий, взяла на руки лежащего брата, и уходя бросила на Франческо взгляд, полный такого грозного пренебрежения, что у него, не боявшегося ни Бога, ни людей, кровь похолодела в жилах.

Он долго оставался неподвижным, повергнутый в глубокое раздумье: в душе его происходила страшная борьба. Но голос зла победил. Какие мысли пришли ему на ум? Над чем он колебался? Что решил? Кто это знает! Может быть сам демон с ужасом отвернулся бы, если б заглянул в душу Франческо Ченчи. Надо однако думать, что в этом водовороте дурных замыслов он остановился на самом худшем; потому что, ударяя себя рукою в лоб, он пробормотал сквозь зубы:

«Как бы не так! Я, которому хотелось бы и самой заре, когда она показывается на горизонте, крикнуть иной раз: „назад! ты будешь светить, когда я дам тебе позволение...“ я позволил остановить себя на полдороге, и кому же? соломинке – воле ребенка! погоди ж, злодейка! Все до сих пор гнулось под моею железною рукою; и ты согнешься, или я изотру тебе в порошок и душу и тело».

Глава VII

Церковь св. Фомы

Церковь св. Фомы, принадлежавшая фамилии Ченчи, была убрана черным сукном: на стенах висели траурные украшения и гирлянды цветов, перемешанных с кипарисными ветками: семь открытых гробов, из черного мрамора, ожидали своих покойников, как отверстые пасти ожидают пищи; на всех них была одна и та же надпись:

*Mors parata, vita contempla*⁵.

И дальше, восьмой гроб, роскошнее других, из превосходного, белого мрамора, с такою надписью:

*Si charitem, caritatemque quaeris
Hinc intus jacent
Non irigratus haeros.
Neroni cani benemerentissimo
Franciscus de Cinciis hoc titulum
Ponere curavit...*⁶

По середине церкви стоял бархатный катафалк, вышитый золотом и убранный цветами. Кругом катафалка шесть серебряных канделябр удивительной работы, с зажженными свечами.

Хор священников, в черных ризах, ожидал покойника, чтоб отслужить богатые похороны.

Скоро слышались мерные шаги; и минуто спустя, занавесь боковой двери поднялась и в ней показался маленький гроб, который несли двое мужчин и две женщины.

Джакомо и Бернардино Ченчи поддерживали гроб спереди, Лукреция Петрони и Беатриче сзади.

Покойник был Виргилий. Господь услышал вторую часть молитвы несчастного дитяти: он покоился в мире.

Позади шло несколько домашних слуг, в богатых, траурных одеждах, с зажженными свечами. Нельзя было видеть без жалости и удивления, что слуги были одеты лучше, чем Джакомо и Бернардино: особенно платье Джакомо было так истерто, что им пренебрег бы самый бедный римский дворянин. Волосы его были растрепаны, борода длинная, воротничок и рукава грязные; он держал голову вниз, точно стыдился самого себя; лоб его был покрыт морщинами, щеки бледны и худы: он проливал горькия слезы. Лицо его ясно выражало две противоположные страсти: жалость и дурно скрытую досаду. Бернардино тоже плакал, но более из подражания, чем по собственному побуждению; потому что, хотя он и не совсем одурел, но его ум был затемнен страхом к отцу, совершенным неведением всего и невежеством, в котором отец всячески старался его поддерживать. Лукреция, хотя была и мачихой Виргилия, но также проливала слезы. Но так как она была скорей ханжа, чем христианка, то она скоро и легко всему покорялась, переноса терпеливо несчастья и приписывая святой воле Божией всякое событие в жизни, как хорошее, так и дурное.

⁵ Готовиться к смерти, значит пренебрегать жизнью.

⁶ Если ты ищешь, милости и благодеяний, ты здесь найдешь их, Франческо Ченчи не неблагодарный хозяин: он поставил этот памятник в честь своей достойной собаки Нерона.

Франческо Ченчи женился на Лукреции именно потому, что слышал про её большую набожность и что раз как-то она, слушая рассказы о его жизни и неверии, воскликнула: «Господи! я скорей бы вышла за муж за дьявола, чем за графа Ченчи». Тогда он начал за ней ухаживать; притворился человеком примерной нравственности; стал посещать церкви, научился опускать вниз голову и очень трогательно поднимать глаза и руки к небу; и в особенности стал щедр на подаяния. Он умел рассказывать жития святых и рассуждать о форме и сущности святых даров лучше всякого францисканца. Лукреция начала думать, что его оклеветали. Во всяком случае, разве он не мог обратиться на путь истинный? Может быть, по воле святой Девы, ей было суждено вырвать эту душу из когтей дьявола? Набожные женщины находят столько сладости, столько гордости в этой борьбе с дьяволом за душу, что, говоря вообще, они не удовлетворяются первым обращением, а с похвальным рвением трудятся над вторым, а второе поощряет их на третье, и т. д.; и если б в них было столько же силы, сколько доброй вели, то нет сомнения, что они посвятили бы всю жизнь на такое доброе дело. Как это, так и увещания родных, огромное богатство и знатность Ченчи подвинули Лукрецию на согласие вступить во второй брак с Франческо Ченчи.

Как только граф ввел в свой дом Лукрецию, он сказал ей, как будто в шутку: «вы говорили, что скорей пойдете за муж за дьявола, чем за меня: я взял вас для того, чтоб доказать вам, что вы были правы»; но он серьезно сдержал слово.

Он начал с того, что каждый день становился на колена подле неё, когда она читала молитвы, и пел непристойные или богохульные песни: она открывала молитвенник, он открывал произведения Маркантония Раймонда или Петра Аретина: он старался разрушить в ней всякое чувство религии и нравственности и наполнить ей душу сомнением и ужасом; но Лукреция ничего не понимала из всей этой чертовщины и большею частью даже и не слушала мужа. Иногда, когда её порочный муж, уставши говорить, делался молчалив, она начинала или продолжала читать свои молитвы; вышло так, что Франческо Ченчи вместо того, чтоб бесить других, мучил самого себя; вместо того, чтоб привести ее в отчаяние, он сам кусал себе губы от досады и сходил с ума от злости. Когда это средство оказалось неудачным, он изобрел другое: заставлял ее слушать рассказы о своих ежедневных любовных похождениях; но когда и этим не удалось рассердить ее, он наполнил дом распутными женщинами; он не удерживался ни от слов, ни от действий, способных оскорбить достоинство женщины и жены, но она и тут с неизменным терпением говорила ему: «да наставит вас Бог и простит вас, как я вас простила». Франческо не находил средства расшевелить эту холодную и незлобивую натуру. Часто, ослепленный бешенством, он унижал ее в присутствии слуг; он оскорблял ее всячески, бил ее; оставлял на лице следы своего зверского бешенства; заставлял ее терпеть недостаток в одежде и в пище... Но он только напрасно терял время: она все переносила с покорностью, во имя Христа, во искупление грехов своих. Франческо, чтоб не биться лбом об стену, перестал преследовать ее. Невероятная вещь! у него скорее истощилась способность ее мучить, чем у неё истощилось терпение. Он решил, что она истукан, и оставил ее в покое, как мертвую натуру, которую не стоить ни терзать, ни ласкать.

Одна Беатриче не плакала; глаза её были неподвижно устремлены на покойника и она как в беспамятстве, бессознательно следила за движениями других.

Когда дошли до катафалка, Беатриче взяла на руки мертвого брата и сама уложила его на катафалк, поправила ему волосы, положила на грудь распятие и букет фиалок; потом, отодвинувши один из канделябров, облокотилась на край гробика и не сводила глаз с покойника.

Один из слуг смотрел на Беатриче глазами, похожими на два огненных языка, и иногда вздрагивал: слуга этот был Марцио.

Кроме четырех детей, уже названных, у Франческо Ченчи было еще трое детей; Кристофан и Феликс, которых он послал учиться в Саламанку, и Олимпия. Эта девушка, бойкая и решительная, будучи не в силах больше выносить отцовские преследования, написала свой

дневник, где очень верно и откровенно изложила все поступки отца, и потом, несмотря на домашнее заключение, под которым она находилась, сумела устроить, что дневник этот был подав святому отцу, вместе с просьбой, в которой она умоляла его поместить ее в монастырь, покуда ей не представится случая выйти честным образом замуж. Сметливая девушка привела, из гнусных поступков отца, только самые вероятные и такие, в которых легко было удостовериться; о других она умолчала, понимая, что чем сильнее безобразие, тем менее оно заслуживает доверия, и приводить факты невероятные, хотя и справедливые, значит отнимать веру и в вероятные. Кроме того она думала, что дочь, жалуясь на отца для собственного спасения, не должна выходить из границ необходимости, чтоб не дать возможности заподозрить в жалующемся неестественной ненависти против своей собственной крови. Папа, оценив умеренность молодой девушки, решился подать ей помощь; он взял ее из родительского дома, поместил в монастырь и в скором времени отдал замуж за графа Карла Габриелли, знатного и уважаемого дворянина из Губио, которому заставил графа Ченчи выдать приличное приданое. Рассказывают, что граф Ченчи; придя в ярость за этот успех Олимпии, дошел до того, что обещал сто тысяч скуд тому, кто возвратит в его дом ненавистную дочь, живую или мертвую; но папа был могущественнее его; и в этот раз Ченчи опять пришлось грызть свои удила...

Не имея возможности выместить досаду набежавшей дочери, он с усиленной жестокостью стал преследовать тех детей, которые остались. Поражение, нанесенное его необузданному самоуправству, терзало его душу, и его видели часто, как Августа, после потери легионов Кара, бродящего по комнатам своего дворца, ломая руки.

Беатриче ничего не видела, ничего не слышала: только когда священник окропил святой водой гробик и одна капля с лица покойника брызнула ей на лицо, она вздрогнула, сделалась еще мрачнее и потом прошептала:

– Это предзнаменование, – я его принимаю.

Толпа слуг и монахов выходила из церкви вслед за священниками, потом понемногу разошлись и все соседи, пришедшие помолиться за упокой души Виргилия. Ченчи остались одни с покойником. Добрый народ от всего сердца плачет над чужим горем; правда, он скоро и забывает его, потому что свое собственное несчастье поглощает у него все слезы, а часто их даже и не хватает.

Все стояли на коленях, опустив руки и повесив головы. Беатриче, одна не меняя своего прежнего положения, вдруг подняла голову, бросила строгий взгляд на этих несчастных, и повелительным голосом воскликнула.

– О чем вы плачете? Встаньте! Знаете, кто убил нашего брата? Да, вы это знаете, но боитесь даже про себя произнести его имя. Того, чье имя вы я про себя произнести не смеете, я назову вам громко: это его отец... наш отец... Франческо Ченчи.

Стоявшие на коленях не шевельнулись, но их рыдания усилились.

– Встаньте, я говорю вам; тут нужны не слезы! Надо позаботиться о нашем собственном спасении, и теперь же, если только мы не хотим, чтоб наш отец убил всех нас.

– Успокойся, дочь моя, успокойся, грешно предаваться гневу, ответила Лукреция: – поди, стань тоже на колени и покорись воле Божией.

– Что вы говорите, синьора Лукреция? Вы думаете служить Богу и богохульствуете. Послушать вас, так подумаешь, что Бог создал воду для того, чтоб топить нас; огонь, чтоб жечь нас; железо, чтоб резать нас... Где вы читали, что обязанность отца – мучить детей своих, и обязанность детей – позволять себя мучить? Так, стало быть, нет границ, вне которых сопротивление возможно? Стало быть, всякое возмущение законно? Так природа сделала клеймо на лбу целых поколений людей: *терпи и молчи*? Разве есть что-нибудь ужаснее детоубийства? скажите мне; потому что, хоть я и знаю много беззаконий, которые делаются на свете, но может быть еще не все знаю. Я знаю, что есть три вещи, которых перечесать нельзя: звезды на небе,

дурные мысли в сердце человека и страдания несчастных... может есть и еще что-нибудь, тогда скажите мне и это. Ах, синьора Лукреция, как же вы мало любили бедного Вергилия!..

– Как! я не любила его? Это милое дитя было мне так дорого, как будто я сама родила его.

– В самом деле? Эти слова легко сказать, но на деле оно едва ли так. Любовь матери не выдумывается. Если б это было ваше дитя, если б вы выносили его, родили его в муках, вы бы теперь не плакали, а вопили. Но что удивительного, что люди не внемлют голосу крови, когда ему даже небо не внемлет? Крик Авеля теперь не достиг бы до Всевышнего... Но если небо сделалось глухо, то мое сердце осталось прежним: оно стонет, и содрогается, и бьется, как и в те времена... А ты Джакомо, ты мужчина. Неужели ты ничего не чувствуешь тут? и молодая девушка ударила рукою по груди брата.

– Беатриче, отвечал Джакомо Ченчи: – я уже не тот, что был прежде: лучшая часть меня самого погибла; я кажусь тенью, воспоминаньем прежнего себя. Посмотри на меня... разве ты скажешь, что мне двадцать пять лет? Что можно сделать против судьбы? Я боролся больше, чем ты думаешь, я изо всех сил кусал мою цепь, покуда она не искрошила мне зубы... Посмотри, сестра, да какого унижения я доведен. Мне не во что одеться, у меня даже нет рубашки, я лишен средства держать в чистоте тело, – разве это не унижительно дворянину? Но это было бы еще небольшое горе, если б я страдал один; у меня часто не достает хлеба, чтоб накормить детей. Из двух тысяч скуд, которые отец обязан платить мне по повелению папы, он мне едва, да и то с трудом, дает осьмую часть; доход с приданого Луизы он отнимает у меня; я часто вижу детей своих нагими, жену в слезах и всех голодными... Я бегу из дому, чтоб не слышать этих криков; но они меня преследуют до отчаяния. Скажи мне, что ж я могу сделать?

– Отчего мы не обратимся к папе? Олимпия обращалась же к нему, и ей удалось.

– А разве я не обращался? Я падал к его ногам, обливал пол слезами, просил его за моих детей, за вас и за себя. Я ему рассказал подробно ужасные поступки отца, я не скрыл от него и самых тайных, самых гнусных; умолял его именем Бога, которого он представляет на земле, не отказать нам в помощи. Строгий старец не был тронут, он не моргнул глазом; точно я просил помощи у бронзовой статуи св. Петра, ноги которой истерты поцелуями и все-таки остаются холодными. Он выслушал меня с неподвижным лицом, устремив в меня свои серые глаза, взгляд которых был тяжел, как свинец, и потом медленно произнес эти слова, которые падали мне на сердце, как хлопья снега: «Горе детям, которые открывают отцовский позор! Хам за это был проклят. Сим и Афет, оказавшие уважение к отцу своему, получили благословение Божие, и потомство их обитало в вечных селениях Ханаана. Читали ли вы где-нибудь, чтоб Исаак роптал на Авраама? Разве дочь Афета удалилась в горы для того, чтоб проклинать отца своего? Отцы представляют Бога на земле. Если б ты с уважением наклонял голову, чтоб поклоняться, ты не видел бы ошибок твоего родителя, и не обвинял бы его. Ступай с Богом». И, говоря это, он прогнал меня с глаз. Теперь ты видишь на деле: Олимпия теми же доводами нашла путь к милости папы; я, напротив, заслужил равнодушие и презрение: в этом видна судьба, а что может человек против судьбы?

– Может умереть.

– Ах! У тебя нет детей, Беатриче, у тебя нет мужа, а у меня жена, любящая и любимая. Если б я не был отцом, давно бы мое тело вытащили вместе с рыбою в Остии; но придет день, и скоро придет! Я вижу, что это одно средство избавиться мне от ежедневного, невыносимого отчаяния. Когда я прохожу мимо Тибра, мне все кажется, что плеск воды под мостами говорит мне: пора! И конечно этим кончится... даже Беатриче побуждает меня на это...

Беатриче несколько раз менялась в лице, пока говорил Джакомо: внутренняя сила видимо побудила ее сказать что-то, но она удержалась; наконец, протянула руку Джакому и произнесла тихо:

– Брат, я сказала необдуманные слова... прости меня и забудь их. Теперь встань... Кто слишком преклоняется к земле, того и поступки отзываются грязью... Будь человеком. Я в

порыве горести усомнилась в милости Божией; но он простил меня, потому что я чувствую, как нисходит в душу мою спокойствие, а с подобным сердцем можно решиться на что-нибудь доброе...

– Ага! между алтарем и гробами затевается заговор?.. вдруг раздалось сзади.

Дрожь пробежала по телу всех: они обернулись с перепуганными лицами и увидели старого графа, который точно вырос из под полу, с багровым лицом, весь в черном и с красной шапочкой на голове, какую носили патриции того времени. Лицо гордого старика было неподвижно и страшно своим спокойствием; оно было непроницаемо и зловеще, как лицо сфинкса. Все прижались друг к другу молча, и не смели поднять глаз. Так птицы, притихнут вдруг под деревом, с приближением сокола, и из кажется, что он их не видит. Одна Беатриче храбро и неустрашимо стояла перед графом.

– Святые пусть будут свидетелями того, как достойные дети делают заговор против жизни своего отца. Вперед... что же вас удерживает? Чего вы боитесь? Какое сопротивление может оказать вам один слабый, безоружный старик? Место удобное... в присутствии Бога... алтарь готов... готова жертва... где же ваш нож, злодеи?

Все в оцепенении молчали. Франческо спокойным голосом продолжал:

– А! вы не смеете... мои глаза пугают вас?.. ни у кого из вас не достает храбрости смотреть мне в лицо? Бедные дети! Ну хорошо, если вы не знаете, я научу вас, как привести в исполнение ваш замысел... и со всею подлостью, на какую вы способны. Ночью, когда все покоится, и отец ваш... Франческо Ченчи... одним словом, я сплю... тогда моя глаза не будут наводят на вас ужас... тогда вы поскорей вонзите мне острый кинжал... хорошенько выточенный между двумя молитвенниками – вот сюда в левый бок... вы увидите, как он легко войдет. Жизнь старика это нитка: даже рука ребенка... даже лапка этого насекомого (и при этом он поднял ручку покойника, которую отбросил потом с неимоверным презрением, так что она тяжело упала на край гробика) могла бы разрезать ее.

При этом некоторые невольно закрыли себе лицо руками. Граф с тою же страшною ирониею продолжал:

– Я понимаю... вы и молча заставляете понимать вас. С вас не довольно моей смерти... вы хотите пользоваться плодами вашего преступления. Это хорошо; но мне тоже дорога честь вашего рода. Я сам не вынес бы, чтоб семейство мое было опозорено наказанием... самое преступление вздор. Ну так слушайте меня... мы тут между своими... нас никто не может выдать: – вы приготовьте мне зелье усыпляющее... царство природы изобилует травами, которые имеют такие свойства! О природа! *alma parens*, ты с самых первых дней сотворения, производя столько ядовитых трав, предвидела будущие нужды и желания детей... как эти, которых я произвел на свет любящими и хорошими... Предусмотрительная мат! Видите-ли... бросить меня вниз с балкона, разве уж с очень высокого, я бы вам не советовал; потому что от этого редко умирают сразу, и боль могла бы вырвать у меня тайну, которую сердце напрасно старалось бы скрыть. Вы могли бы еще... да, клянусь святым Феликсом, патроном нашей фамилии... это было бы сродство истинно царское; – вы могли бы сделать, как король Манфред, которого хотя и трудно назвать святым, но нельзя также считать и за дьявола, потому что Дант поместил его в пургаторий. Манфреду, видите ли, нетерпелось наследовать королевство Сицилии, а отец его, император Федерик, вовсе не торопился умирать: как тут быть? Жизнь отцов находятся в вечном противоречии с жизнью детей. Есть же люди, которых ремесло помогать смерти? И кто знает, кому бы вы были более благодарны: бабке первых или бабке второй? Я понимаю ваше нетерпение... а мне простите за это мое многословие, хотя бы в благодарность, что я же и учу вас, как от него избавиться навсегда. Манфред читал у постели отца; глаза старика отяжелели и он заснул так крепко, что слабое дыхание только показывало в нем присутствие жизни... дыхание до того легкое, что оно едва могло бы помутить зеркало или может быть перо... словом дыхание такое же, как мое... он вытащил подушку из-под головы отца и

положил ее на него... как видите, дело одного мгновения; потом вскочил на постель, обоими коленами уперся ему в грудь, обеими руками прижал подушку ко рту и ноздрям... и оставался в этом положении, покуда не отправил отца, который ему ни на что не был нужен, и не приобрел короны, которая ему была необходима...

– Ужасно! ужасно! воскликнула Беатриче.

– Ужасно! повторили другие.

– Чего ж вы пугаетесь? Вы боитесь обжечь пальцы об раскаленные угли ада, и затеваете играть роль дьяволов за земле? А вы разве не знаете, что для того, чтоб быть дьяволом, надо плавать шутя в огненном море и смеяться в муках? Тогда человек считается достойным обмочить свои руки в кровь, как губы в вино, и говорить даже в присутствии Бога: «я не грешил.» А! вы думаете делать преступление, как бабочки, взмахом крыльев? Предоставьте мне суровую роль сатаны, потому что я чувствую себя злодеем всеми силами своих способностей. Посмотрите на эти семь гробов... я приготовил их для вас, для Олимпии, Кристофана и Феликса... вы тут не видите моего гроба, потому что я хочу умереть после всех вас. О, Боже, которого не знаю, если еще ты хочешь приобрести во мне поклонника, который уверовал бы в тебя такого, каким тебя видел Моисей, могучим и ревностным карателем четвертого и пятого поколения ненавидящих тебя, пошли мне счастье присутствовать при предсмертных муках моих детей, закрыть им глаза и уложить их на покой в эти гробы! Даю клятву благородного дворянина – зажечь тогда свой дворец и самому в нем сгореть. Но если ты не можешь сделать мне этой милости, я согласен умереть прежде них, с тем условием, чтоб мне было даровано право протянуть из могилы руку и увлечь их за собою... Но ты меня не слышишь. Ну, так я и сам позабочусь; оно будет лучше; потому что человек, покуда в нем есть дыхание, не должен сообщать своих мыслей о мести никому – даже Богу. Ступайте, избавьте меня от вашего ненавистного присутствия. Ступайте вон!

Он сделал движение рукой, как будто хотел оттолкнуть всех от себя; но ему вдруг пришла, по видимому, другая мысль; он кинулся к Джакомо и, схватив его за правую руку, заставил вернуться; потом, глядя на него пристально и приблизив к нему лицо, начал говорить:

– Ты жаловался, что у тебя нет рубах... лентяй! Ступай на гробницу той, которая была твоей матерью, подыми крышку, возьми простыню, в которую она завернута, и отнеси ее своей жене, пусть она сошьет из нее рубашки твоим детям. Да скажи ей, чтоб она оставила от неё два куска: один, чтоб закрыть тебе лицо, когда ты умрешь недоброй смертью, а другой, чтоб обтирать себе слезы, если она будет такой душой, что станет проливать из по таком мерзавце, таком низком, отвратительном создании, как ты...

– Ради Бога! оставьте меня, граф... кричал Джакомо, дрожа всем телом и употребляя все усилия, чтоб вырваться из рук жестокого старика.

– Нет, я не оставляю тебя, покуда не научу, как находить то, что тебе нужно. Хочешь хлеба для своих детей? Принеси домой горсть праха твоей матери, пускай едят его... змеи питаются землею. Или лучше, ступай, отнеси им мое проклятие, которое я дарю им неотъемлемо *inter vivos*... ты им посыпь их детские головы... не бойся оно не падет на камень... не отворачивай лица... я говорю тебе правду: уж это обычай в нашем семействе, что дети ненавидят отца; мы от дьявола родились и к дьяволу вернемся; проклятие, которое ты посеешь, тебе вернется с лихвою во время жатвы. Пускай у тебя с женою не будет друг для друга иных слов, кроме слов брани и ненависти; пускай она выгонит тебя из постели, опозорить твое ложе; пусть жизнь твоя сделается пыткой, смерть облегчением...

Он наговорил бы еще больше, если б Джакомо, сделав отчаянное усилие, не вырвался из его рук и не убежал, заткнув себе уши.

– Беги... беги, продолжал злой старик; – напрасно ты затыкаешь себе уши; мои слова имеют то же свойство, как раны моего блаженного патрона, святого Франческо: они жгут тело, разъедают кости... после смерти еще видны их следы...

Лукреция и Бернардино, дрожа от страха, пустились бежать вслед за Джакомон; осталась одна Беатриче, неподвижная у изголовья гроба.

– А ты не трепещешь? спросил ее отец.

Беатриче, не отвечая ему, повернулась с благоговением и сложив руки к алтарю, сказала:

– Святой крест... ниспошли свою милость на эту несчастную душу...

– Безумная! что ты говоришь о кресте? Тут нет ни Христа, ни Бога...

– Замолчите, старик. Подумайте, что вы с минуты на минуту можете быть призваны перед его святое судилище, и что он один... да, он один может помиловать и спасти вас.

Старик хохотал и скрежетал зубами.

– Хочешь иметь доказательство, что я невредим? Вот оно!

И, взойдя на ступеньки алтаря, он со всей силы ударил кулаком по мраморной доске, говоря:

– Боже! если ты находишься в этом алтаре, обрати меня в пепел... я вызываю тебя, чтоб ты меня разгромил за мое нечестие... Говоря это, он положил голову на алтарь и, пробывши в этом положении несколько времени, раза три крикнул: не слышишь? Наконец поднял эту проклятую голову. Члены его тела дрожали, но не душа. Он посмотрел на дочь; его сморщенные глаза начали щуриться и смеяться смехом ехидны; он подошел к ней, как гроза. Она даже не моргнула.

– Поди ко мне, Беатриче, тебя одну люблю я... ты свет моей жизни... ты...

И, одержимый дьявольским безумием, нечестивый старик приближается к Беатриче, уже прикоснулся к ней, уже в исступлении готов обнять ее; но она отскочила в ужасе на другую сторону гроба и воскликнула:

– Между вами и мной пусть будет ваше детоубийство!

При этом быстром движении она толкнулась о гроб, который опрокинулся вместе с покойником, увлекая за собою гирлянды цветов и канделябр с зажженными свечами; канделябр повалил Франческо Ченчи на землю. Голова покойника упала на голову старика; светлые волосы мертвого ребенка и седые волосы живого старика смешались между собою – и вспыхнули от зажженных свечей.

Старик корчился, как змея, которую давят, и, проникнутый невыразимым ужасом, ревел:

– Мертвец жжет меня!..

С отчаянным усилием он высвободился от трупа и с трудом мог стать на ноги. Как ужасен был в эту минуту Франческо Ченчи! Обожженные волосы еще дымились, щеки и висок распухли от обжога, глаза подкатились, так что из них были видны одни желтые белки, налитые кровью; все члены судорожно дрожали.

– Ага, Франческо Ченчи! – бормотал он, скрежеща зубами: – ты испугался! Трус! ты испугался! Ребенок и покойник напугали тебя.... теперь я вижу, что ты, в самом деле, стар!

Беатриче исчезла. Старик, шатаясь, пошел в свои комнаты, исполненный страшных и кровавых замыслов.

Глава VIII

Отчаяние

Сырой ветер *широко* с силою дует с моря, нагоняя на Рим тучу за тучею, которые пугливо и зловеще бегут одна за другою, как лошади Апокалипсиса. Эти тучи наполнены гневом Божиим и носят в своем чреве ураганы, заразы и молнии для какой-нибудь осужденной на гибель головы. От дуновения этого разлагающего ветра тело постигает слабость и раздражительность; на стенах домов показывается сырость; волосы прилипают к щекам; холодный пот выступает вокруг шеи... Душа легко поддается гневу; в словах является горечь; самые мягкие голоса делаются пронзительными... Закроешь окна, начинает томить тоска; откроешь их, вещи, листы бумаги, все разносится ветром по комнате; пыль набивается в волосы, в складки рубашки и засоряет глаза.

В такой-то ветер, позднюю ночью, в убогой комнате, сидели и разговаривали между собою муж и жена; перед ними стоял простой деревянный, некрашенный стол, и на столе грустно догарала, как чахоточный, сальная свеча, едва освещая комнату и бросая вокруг на столько света, чтоб можно было рассмотреть наружность разговаривающих. Мужчина казался убитым горем; руки его висели, как у человека, доведенного до отчаяния; женщина была подавлена страданиями, но взгляд её сохранил еще истинную римскую мощь и все еще был полон огня. Она видимо была взволнована чем-то и с жаром говорила:

– Нет, я никогда не поверю всем этим злодействам... Ведь это ужасно: от таких дел солнце может остановиться на небе.

Мужчина этот был Джакомо Ченчи, женщина Луиза Велиа. Джакомо, как мы уже сказали, было едва двадцать шесть лет; он был не высок ростом и скорее полон, чем худ; но теперь он сидел исхудалый ужасно. Выросши под отцовским гневом и не испытавши кротких увещаний, способных смягчать сердце, он может быть следуя дурному примеру, вышел бы похожим за отца, если бы любовь не завладела во время его душой и не сделала ее способною к самым нежным чувствам. Он влюбился в Луизу, прелестную и достойную девушку, но не знатного, хотя и старинного рода; и она отвечала ему не потому, что он принадлежал знатной фамилии, но потому что знала, как безмерно он несчастлив.

Нет существа, которое более воспламенялось бы самопожертвованием, как женщина. Создание нежное, она легко увлекается всем тем, что ей кажется великодушным: для неё блаженство – облегчать страдания других, ухаживать за опасно больным. Когда медик и священник покидают умирающего, кто остается у его изголовья? женщина. Она была его радостью, может быть и горем, в жизни; но в несчастье она остается его ангелом хранителем; и после его смерти, на коленях у его дома, читает молитвы по усопшем. Женщина после всех покидает мужчину, – даже после надежды.

Если знамя свободы и религии нуждается более в мужчинах для борьбы, то у него было больше женщин для проповеди и для страданий. Девственницы первых времен христианства, в цвете молодости, с восторгом окрасили белые розы своих гирлянд своею собственною кровью. Неужели было бы грешно верить, что один взгляд, которым христианская девственница обвела толпу в то время, когда поднятый топор, предназначенный для её головы, рассекал уже воздух, обратил большее число людей в веру Христову, чем проповеди Иоанна Златоуста? Если это грех, я смело исповедываюсь в нем.

От брака Луизы Велиа с Джакомо Ченчи родилось в короткое время четверо детей. Жили они сперва, хотя и несоответственно высокому происхождению Джакомо, однако довольно удобно, покуда у Франческо Ченчи не прошел страх, навеянный повелением папы, заставившим его выдавать сыну пенсию в 2000 скуд в год, Зная, что папа не станет следить за этим,

Ченчи начал по немногу уменьшать пенсию и, наконец, перестал почти вовсе выдавать деньги. Наконец семейство Джакомо впало в большую бедность и начало терпеть нужду в самом необходимом.

Луиза, хотя и страдала сильно, но не столько за себя, сколько за семейство, и потому крепилась, на сколько у неё хватало силы; она обращала к мужу веселое лицо и убеждала его не падать духом, говоря, что все изменится к лучшему. После туч показывается солнце, говорила она, и проходит дурное; не может быть, чтоб такое положение продлилось... – и тому подобные общие места, которые в этих случаях произносят губы и которым верит сердце. Увы! слишком часто судьба, вцепившись в волосы человека, тащить его в могилу и до тех пор не оставит, пока не зароет в нее и не затопчет ногами землю, которую на нее насыплет. Богу одному были известны горести достойной женщины; и как часто разрывалось сердца её при виде своего благородного мужа, одетого не только бедно, но грязно, – детей, полунагих и часто голодных. Частые потрясения даже изменили не мало её душу, и она подавляла не без усилия голос упрека, который подымался в ней и укорял за слишком большое долготерпение. Она начинала жалеть, что принесла себя в жертву. Это было заметно и в её обращении с мужем; но Джакомо, постоянно подавленному горем, было не до того, чтоб замечать что-либо.

– Луиза, друг мой, проговорил он таинственным голосом: это еще не все... то ли он еще делал!.. Слушай... подвинься ближе, чтоб дети не слышали.

Но так как она не придвигалась, почувствовав как бы отвращение, то Джакомо сам придвинул свой стул к ней.

– Тебе надо знать, что мать моя была так же добродетельна и хороша... как ты, мой ангел... Но если сама она сохранила свое сердце чистым и верным своему супругу, ты понимаешь, что она не могла запретить другим влюбляться в себя. Синьор Гаспар Ланчи полюбил ее страстно и, действуя менее осторожно, чем следовало бы, он излил свою страсть в очень плохом и довольно невинном сонете, который напечатал и послал моей матери. На другой день он, по своему обыкновению, пришел к ней, в отсутствии Франческо Ченчи. Мать, как только его увидела, встала и, поклонившись ему, произнесла дрожащим голосом: «любезнейший синьор Гаспар, после огласки вашего сонета, я думала, вы догадаетесь, что женщина с правилами не может больше принимать вас; но так как вы сами этого не поняли, то я вынуждена вам сказать это». Видя его бледность, она однако почувствовала жалость и тотчас не прибавила: «я желаю вам всего хорошего, синьор Гаспар; но зачем вы говорите мне о любви, которую я, как жена другого, не мету разделить, не сделавшись преступной, между тем как эта самая любовь осчастливила бы девушку? Оглянитесь кругом и вы увидите, сколько в Риме прекрасных и достойных невест; обратите вашу любовь на одну из них и вы можете быть уверены, что она будет принята с радостью, как того заслуживает».

Смущенный синьор Ланчи рассыпался в поклонах, голос его отказался служить ему, и только слезы выступили на глазах. Но так как любовь питается вздохами, слезами и надеждой, то он не переставал показываться под окнами дворца, награждая себя уж тем, что видит стены, где живет предмет его любви. Вдруг однажды, на рассвете, я слышу под окнами своей комнаты крики: «спасите, Бога ради! спасите!» Я поспешил выйти на улицу, со шпагой в одной руке и фонарем в другой, и увидел у ворот дворца тело Гаспара Ланчи, пронзенного насквозь шпагой. Мать моя, измученная уже теми страданиями, какие она претерпевала прежде, впала в большую еще грусть, после смерти бедного Гаспара, причину которой приписывала себе. Еще и до этого несчастья она мало выходила из дому; а теперь уже никуда не показывалась и шла затворницей, вся поглощенная своею скорбью. Измученная старыми и новыми огорчениями, она стала чахнуть, и те, которые посещали ее, видели, что ей уже недолго осталось жить; кроме того, весть о близкой её смерти распространял сам Франческо Ченчи, который воспылал любовью, или лучше сказать, безумием к Лукреции Петрони, нашей мачихе. Раз за обедом, Франческо Ченчи воспользовался минутой, когда мат моя отвернулась, чтоб позвать слугу, и

с быстротою, как аспид, всыпал порошок в её стакан. Мать выпила и, найдя вино горьким, сделала выговор буфетчику. Граф тотчас велел подать себе сосуд с вином, попробовал его и объявил, что это тоже превосходное, аликантское вино, какое и всегда подавалось. Я готов уже был открыть рот и сказать о порошке, но граф, бросив на меня проницательный взгляд, от которого у меня отнялся язык, сказал: «синьора Виргинию, не обращайтесь внимания; когда себя чувствуешь дурно, то прежде всего теряешь вкус к вину». И сказав это, он встал из-за стола. Три дня спустя, в этот самый час, скончалась мать, пошла Господи вечный покой душе её! Тело её не бальзамировали, потому что она сильно портилась; закупорили в три гроба и поскорей отвезли на далекие похороны.

Луиза слушала этот рассказ с какою-то недоверчивостью, и когда он кончил, она с упреком произнесла:

– Я не скажу, что граф святой. Упаси Боже! Но это злословие на отца не приносит вам ничего, кроме вреда...

– Чем же я злословлю?

– А разве не за это его святейшество вас выгнал из своего присутствия, как сына без сердца и врага своего родителя?

– Этот дьявол удачлив по крайней мере так же, как и развратен.

– Стыдитесь! Вспомните, что вы говорите о вашем отце и что ваши дети вас могут слышать.

– А если и услышат, что за беда? И прекрасно, пусть знают, как дед не похож на их отца.

– На вас? А! если бы все, что вы рассказываете про графа, было правда, то вы вместе с ним имели бы право на ненависть детей...

– Ненависть моих детей! Луиза, ты с ума сошла сегодня? И Джакомо подумал, уж не бредить ли она?

– Да, да! – не удерживаясь больше, говорила вне себя Луиза – ненависть ко всему вашему роду! Ваши дети голодны и вы не можете найти им пропитания! Они голы, а вы и не думаете о том, чтоб одеть их! О себе я уж не говорю. Вы прежде любили домашний кров; а теперь он вам противен: вы приходите домой редко, всегда бываете суровы, скоро уходите, а о нас и не думаете, хотя мы и ждем вас с беспокойством целые ночи напрасно...

– Луиза! душа моя может быть вынесла бы ваши вопли, но она не может переносить немного горя моего семейства, я не в силах видеть столько бедствия. Друг мой, неужели ты хочешь поставить мне в вину мою чрезмерную нежность к вам?

– Скажите, Джакомо, разве от вашего отсутствия легче детям? Разве от того, что они вас не видят, они меньше плачут? Разве от того, что вас нет, они сыты, одеты, утешены? Зачем оставлять меня, бедную женщину, в отчаянии, без совета, без помощи? Разве мы соединились не для того, чтоб помогать друг другу? Зачем же мне одной нести крест?

– Ты права, Луиза, но неужели ты не простишь мне моей излишней нежности, или если хочешь моего малодушия?

– Фальшивый, жестокий человек! твоя нежность! твое малодушие! А куда ты тратишь пенсию, которую дает тебе отец?..

– Что значит этот гнев? Разве я тебе не говорил тысячу раз, что он отнял у меня пенсию и, как милостыню, бросает мне по три, по четыре скуди?

– Да, вот как!.. он отнял у тебя пенсию? Он бросает тебе, как милостыню, три, четыре скуди! А твои любовницы? скажи-ка, чем ты их содержишь? А твои незаконные дети? чем ты их кормишь?

– Луиза, ты бредишь...

– О! я не забочусь о себе; я вернусь к своим родителям; и хотя от них и отвернулась судьба, я знаю, что они примут меня радушно. Мне не тяжело работать, чтоб снискивать пропитание. Я не упрекаю тебя за мою отцветшую красоту, за молодость, погубленную с тобою: –

конечно, я выхожу из твоего дома совсем другою, чем вошла в него... Что-ж за беда? Мы, женщины, – как цветы, которые срывают для минутного удовольствия, – понюхают и бросят. Я тебе не желаю зла, избави меня Боже пожелать зла отцу моих детей...

– Луиза, друг мой!.. Ты напрасно выходишь из себя! Говори спокойней! выслушай меня.

– Ступай в объятия другой женщины... ты все таки не найдешь никого, кто бы любил тебя так, как я тебя любила... Но это слова женщины, и ты можешь на них не обращать внимания... выслушай только, умоляю тебя, слова матери. Сжался над этими несчастными детьми... посмотри на них... посмотри на меня и сердце тебе скажет, что это твои дети... кровь твоей крови... люби их по крайней мере столько же, как тех, которые у тебя есть от другой женщины, не обрекай их на голодную смерть. Я кормила Анжелико, сколько могла, своей грудью... теперь видишь у меня уж и молока нет... О пресвятая Дева! Даже молоко иссякло у меня в груди... сжался над бедной матерью!..

Джакомо водил кругом отупелый взгляд, и его перепуганный вид, вместо того чтоб уничижить, еще усиливал подозрения жены. Наконец, он в отчаянии воскликнул:

– Ах! кто отравил сердце жены моей? Кто отделил плоть от моей плоти? То, что соединила воля Божия, разъединяет злоба Франческо Ченчи. Франческо Ченчи! я тебя вижу в этом! Твое зловредное дыхание поражает меня смертельно... Луиза, скажи, кто оклеветал меня в твоём сердце?

– Клевета! Много ли виновных ударяют себя в грудь говоря: *я согрешил*? А ожерелье, которое ты купил своей любовнице, клевета? Клевета тоже парчевое платье твоего побочного сына? Перестроенный дом снисходительному мужу также клевета?

– Если бы горе не давило мне сердце, клянусь Богом, твои слова заставили бы меня смеяться. Однако довольно, Луиза; это все ложь...

– Ты говоришь, ложь? Так возьми же, читай.

И вынув письмо из за пазухи, она его бросила ему на стол. Джакомо развернул и стал читать. Это было анонимное письмо, написанное сквернейшим почерком и плебейским слогом; в нем сообщали Луизе о неверности её мужа, о связи его с женою столяра и о том, как он мотал деньги на эту женщину. Ее уведомляли также, что он выстроил им дом и снабдив столяра деньгами для его торговли, не умадчивалось и о драгоценном ожерельи и о великолепных платьях, подаренных этой женщине; говорилось еще, и – это был самый сильный удар сердцу бедной матери – что от этой непозволительной связи родился прелестный ребенок, которого Джакомо любит без памяти. О подарке парчевого платица распространялись с злобным удовольствием.

Джакомо медленно передал письмо жене и, грустно качая головой, сказал:

– И как могла ты, Луиза, жена моя, с твоим здравым умом, поверить этому глупому и гнусному письму?

– Потому, что это правда, – ответила она с жаром, судорожно рыдая.

– Луиза, неужели и ты готова скорее поверить клеветнику, у которого недостает даже храбрости назвать себя, который может иметь, и наверное имеет, самые дурные цели, действуя так бесчестно, хочет вооружить против меня твое сердце, нарушить мое семейное счастье, похитить единственное благо, какое у меня осталось – твою любовь, – поверить ему, а не мне, который любит тебя и хранит, как зеницу своего ока, чтит тебя, как мать детей своих... и который в этом клянется тебе своей душой.

– Я больше верю письму, чем тебе, потому что письмо говорит правду, а ты лжешь.

– Луиза, я кстати напому вам наставление, которое вы давали мне: вспомните, что ваши дети не только могут вас слышат, но уже слушают, и что я их отец.

– Я нарочно говорю в их присутствии, чтоб они раньше научились знать тебя.

– Молчать, женщина!.. Молчать! Вы не в своем уме! Это все ложь; я клянусь вам честью благородного дворянина, – этого довольно!

– В самом деле, вы дворянин без упрека; вам остается только быть без страха, чтоб походить на рыцаря Баярда! А когда вы уверили меня и мое семейство, что отец ваш дает согласие на нашу свадьбу, вы не клялись также точно честью благородного дворянина?

Джакомо покраснел до самого корня волос, потом сделался опять бледным, наконец с горечью проговорил:

– Та, из любви к которой я сделал вину, не должна бы меня так строго упрекать за нее: тогда страсть к вам отняла у меня рассудок...

– А теперь что у вас отнимает его? продолжала все с большею настойчивостью безразсудная женщина, не в силах будучи владеть собою.

Раздраженный Джакомо начал сурово унимать ее.

– Замолчите!..

– А если я не захочу молчать?..

– Я найду средство закрыть вам рот...

– Ты найдешь?.. о! ты уж нашел его!.. Когда мы кладем головы на одну подушку, кто знает, сколько раз ты уж думал о том, чтоб уничтожить мою!..

– Луиза!..

– Теперь змея показала свой яд. Жестокий человек! С тебя не довольно жертвы? Ты хочешь, чтоб она молчала, не испустив ни одного вздоха, чтоб не возмутить радости, которую доставляет тебе её смерть. Имей по крайней мере любезность древних жрецов... увенчай твою жертву цветами и покрой ее багрянницей...

– Да замолчи хоть раз, ради самого Бога!..

– Нет... я не хочу молчать!.. нет, я хочу говорить!.. я хочу обвинять тебя в твоём беззаконии перед людьми и Богом... изменник... лгун... подлец!..

Негодование закипело в груди Джакомо, уже раздраженной страданиями и несчастьями, подобно воде, которая от сильного жара начинает бить через край. Дрожа от гнева, он принялся искать на себе кинжала; но, к счастью, он потерял кинжал. Убедившись в этом, он в исступлении начал метаться по комнате; ему попала под руку длинная граненая шпага, с которою он с безумным бешенством кинулся на жену.

Луиза схватила детей, окружила себя старшими и, взявши на руки меньшего, бросилась на колени перед мужем. Тот шел на нее; она даже не моргнула глазом.

– Напой его моею кровью, говорила она: – молока уж нет у меня... кровожадный!

Джакомо остановился, зашатался, как человек, получивший удар в голову, отбросил шпагу и робко протянул свои объятия жене, но она отвернулась от него, воскликнув:

– Нет!.. никогда!..

Тогда Джакомо, потерянный, обратился к детям и, с невыразимой нежностью, умолял их:

– Дети мои! уверьте вашу мать, что она заблуждается; скажите ей, что я всегда любил ее и люблю. Придите вы в мои объятия... утешьте меня... мое сердце разрывается от невыразимой горести!

– Нет!.. ты заставил плакать маму!

– Ты хотел убить маму... поди!

– Мы тебя больше не любим.

– Поди вон!.. поди!.. кричали в один голос все трое.

– Поди вон? хорошо... Мои дети отворачиваются от меня... выгоняют меня из дома... я уйду. Но ты по крайней мере, прибавил он, обращаясь к меньшому, которого Луиза положила в колыбель: – невинное создание, которого люди не могли еще испортить... ты услышишь беспорочный голос природы, прими мое объятие, и пусть это будет единственным наследством, которое может оставить тебе твой несчастный отец.

Ребенок, перепуганный расстроенным видом отца и его судорожными движениями, закрыл личико обеими ручонками и принялся кричать от страха. Джакомо остановился, посмотрел на ребенка и, сложив крестом руки на груди, произнесу тихим голосом:

– Вот, отец преследует меня до смерти... жена отвергает меня... дети гонят от себя... сама природа опрокидывает для меня свои законы, и этот ребенок чувствует ко мне инстинктивный ужас, как к чему-то зловещему!.. До этого человек не должен доживать никогда... а я терпел до последней крайности! Как бревно на дороге, я в жизни своей только помеха, ненавистная обуза. Что тебя останавливает теперь, неутешная душа? Ты утетишь и меня и моих детей, когда улетишь из моего тела!.. пойдем. Благословить их, или нет?.. Я желал бы... и не смею... Нет... может быть мои слова прежде, чем коснутся их голов, превратятся в проклятия... Горькая жизнь, несчастная смерть, проклятая память!.. Боже! ты видишь все это! Ты видишь и даешь на это свое согласие!.. Ты сломил согнутый тростник... и я признаю себя побежденным!..

С этими словами, исполненный отчаяния и ухватившись за волосы, Джакомо покинул свой дом. Всякий, кто бы увидел его в эту минуту, будь это даже враг его, сказал бы: «Господи, сжался над этим несчастным страдальцем!»

Луиза не заметила ухода мужа, а если и заметила, то мало обратила на него внимания, вся поглощенная любовью к детям. Горячие поцелуи и ласки, которые она расточала им в эту минуту, заставили ее позабыть, что самая сильная связь семьи была порвана. Несчастная, как горько заплатит она за ту недобрую минуту, когда она безразсудно предалась слепому негодованию!

Глава IX

Свекор

– Я сама намерена все разъяснить! воскликнула Луиза и, сделав движение, полное решимости, начала приводить в порядок свою бедную одежду, потом достала черную мантилью, завернулась в нее и, поручив детей единственной служанке, которую держала в доме, отправилась во дворец свекора.

Войдя в переднюю, она не могла не заметить, как лакеи искоса поглядывали на нее, очевидно, принимая ее за что-то неважное. Может быть они и подняли бы ее даже на смех, если б она не остановила их, обратясь к ним с гордым видом знатной дамы:

– Доложите графу дон-Франческо, что донна Луиза Ченчи, его невестка, пришла навещать его... и что она дожидается в передней...

Слуги как-будто попали из огня да в поломя. Они не знали, докладывать о ней, или нет: и то и другое было одинаково опасно. У их господина был такой бедовый характер, что, если его не угадаешь, то самое малое, что могло случиться, это потерять кусок хлеба.

Хлеб! Это та магнитная игла, которая поворачивает в известную сторону стадо сынов Адама.

Хлеб! Это та ежедневная потреба, которую люди слишком часто не умеют доставать себе без преступления и подлости.

Хлеб! Это камень, который нужно привязывать на шею всякому благородному чувству, чтоб потопить его в море зла. Слова нет, велика была мудрость, внушившая молитву к Богу о даровании хлеба насущного; но так как она часто бывает не услышана, то не лишнее было бы прибавить к ней: *«а если не хочешь, Боже, или можешь дать мне насущного хлеба, так дай мне по крайней мере твердость умереть с голоду, не делая подлости»*.

Между тем человек не хочет умереть с голоду, и подлость намазывает себе, как масло на хлеб; незаметно даже, чтоб это ему портило аппетит или расстраивало пищеварение.

Старые лакеи, в которых было более волчьего, чем человеческого, стеснились в кружок и рассуждали, что им делать? но, по-видимому, скоро решили, потому что один из них, мигнув глазом на молодого лакея, очень тщеславного, недавно поступившего к графу, сказал: «подвалить дурака, так он пойдет».

– Кирыак! обратились они к новичку: – мы даем вам случай показаться барину; вы молоды и ловки, а мы уже старики и не знаем, как и держать себя перед господами... так вам по праву следует доложить о синьоре.

Польщенный честолюбец попался в ловушку; а может быть им владело и тайное намерение выжить их самих со временем и завладеть милостями барина.

– Эчеленца, произнес Кирылк, входя к графу, согнувшись, как первая четверть луны: пришла и ждет в передней какая-то синьора, которая называет себя невесткой вашего сиятельства; она желает вас видеть.

– Кто такая? крикнул гриф, подскочив на кресле.

Он всегда был суров с прислугой, но сегодня был страшен. Лицо его было перевязано и он чувствовал острую боль в обожженной щеке.

– Невестка вашего сиятельства...

Граф осматривал с головы до ног слугу такими сердитыми глазами, что, тот почувствовал лихорадочный озноб; но, поддерживаемый талисманом *хлеба* и согнувшись уже в три погибели, он прибавил:

– Сколько я мог заметить в разлитых случаях, эчеленца, ваша прислуга совсем не годится для вашего сиятельства.

– Ты это заметил?

– Это и многое другое, потому что я всегда стараюсь изучать привычки моих господ, чтоб предупреждать их желания; но, не смотря на это, я думал, что не доложить о ней, было бы оскорбление, взявши в соображение знатность имени, которое она, по её словам, носить.

Дон-Франческо презрительно улыбнулся, заметив, как этот негодяй лестью старается влезть ему в душу. И когда он кончил говорить, граф, глядя ему пристально в глаза, сказал:

– А что вас заставило полагать, что мои родные, и в особенности моя невестка, донна Луиза, могут быть мне неприятны? Вы подсматриваете действия своих господ, и это очень дурно; вы перетолковываете на-выворот их намерения – это еще хуже. Ступайте к моему дворецкому, скажите, чтоб он заплатил вам годовое жалованье, и снимите сейчас же мою ливрею... Чтоб сегодня ночью уж вас не было в моем доме.

Лакей очутился в положении человека, который стал под дерево с тем, чтобы защититься от дождя, и вдруг почувствовал, что на него упала ветка, сломанная грозой. Он хотел поваляться в ноги, старался произнести что-то и исправить себе помилование, но граф, не терпевший того, чтоб слуга оставался, получив приказание, произнес голосом, которому не было возможности не повиноваться:

– Поди вон!..

– А! светлейшая, сиятельнейшая донна Луиза! говорил со слезами Кирьяк. – Посмотрите... за то, что я впустил вас, мне приходится убираться из дому!.. Подумайте сами, справедлива ли это? Я остаюсь просто на улице; я не говорю, что это по вашей вине... Сохрани Боже! но все-таки за то, что я хотел услужить вам, на меня обрушилась такая беда... похлопочите за меня; я поручаю себя вашей милости, – ведь это будет на вашей совести...

Бедный лакей, с полу-мольбой, с полу-укором, подавленный смертельною нуждою в хлебе, хватался за донну Луизу (на которую смотреть за минуту с презрением), как за последний якорь спасения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.